

«По понятиям этих малограмотных дней Максим как писатель непозволительно сложен. Иные горазды при случае укорить: мол, не в меру психологичен, излишне филологичен и философск, что лишь прикидывается кромешно далеким. Гуреева оценят не только горячечные фанаты изысканного письма вроде вашего корреспондента, но и вполне теплохладные, уравновешенные здравомыслы». **САША СОКОЛОВ**

МАКСИМ
ГУРЕЕВ

ТАЙ НО ЗРИ ТЕЛЬ



18+

Интеллектуальная проза российских авторов

Максим Гуреев

Тайнозритель (сборник)

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Гуреев М. А.

Тайнозритель (сборник) / М. А. Гуреев — «Эксмо»,
2018 — (Интеллектуальная проза российских авторов)

ISBN 978-5-04-090763-2

Повести, вошедшие в эту книгу, если не «временных лет», то по крайней мере обыденного «безвременья», которое вполне сжимаемо до бумажного листа формата А4, связаны между собой. Но не героем, сюжетом или местом описываемых событий. Они связаны единым порывом, звучанием, подобно тому, как в оркестре столь не похожие друга на друга альт и тромбон, виолончель и клавесин каким-то немислимым образом находят друг друга в общей на первый взгляд какофонии звуков. А еще повести связаны тем, что в каждой из них – взгляд внутрь самого себя, когда понятия «время» не существует и абсолютно не важна хронология.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-090763-2

© Гуреев М. А., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Вожега	6
Калугадва	43
1. Комната	43
2. Собака	48
3. Отец	51
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Максим Гуреев Тайнозритель

© Гуреев М., 2018

© Оформление. ООО Издательство «Э», 2018

* * *

Вожега Повесть

I

Вожега вышел в коридор и, дождавшись, когда в дверях появится Зофья Сергеевна Кауфман, проделал следующее – указательным и средним пальцами правой руки оттопырил нижние веки, а большим пальцем той же руки раскорячил нос так, что совершенно вывернул при этом все содержимое его ноздрей-нор.

Кукиш вместо лица получился.

От неожиданности Зофья Сергеевна, конечно, тут же закричала, потому как ей в темноте, да еще и с перепугу, показалось, будто Вожега надел себе на голову пакет из-под картошки и теперь задыхается в нем, хрипит, бьется в судорогах, конвульсиях, слабеет, вещает при этом загробным голосом: «Это я, Зофья, твой муж – Вольфрам Авиэзерович Кауфман. Не узнаешь меня, что ли?»

Ну, конечно же, не узнает, попробуй тут узнай, потому как муж Зофьи Сергеевны умер в 1980 году, как раз накануне московской Олимпиады, подавившись куриной костью во время просмотра по телевизору товарищеского футбольного матча «СССР – Венгрия».

Наши тогда, кажется, выиграли с перевесом в один мяч.

Вожега перевесился через подоконник окна второго этажа еще довоенного барака, в котором жил, и захохотал, оттого что ему удалось достигнуть желаемого, а именно – напугать эту толстожопую дуру до смерти.

А что он знал-то про смерть?

Ну, например, то, что она может наступить от внезапной остановки дыхания во сне – апноэ, от отравления ядовитыми грибами, от гнойного воспаления нутра, от тяжелейших желудочных спазмов и конвульсий. Также кончина могла произойти и от механических повреждений – переломов, разрывов, – абсолютно несовместимых с жизнью, от болевого шока могла наступить, но не наступала!

Не наступала, потому как еще не пришел ее черед!

И вот, может быть, именно в ожидании своего черед Зофья Сергеевна всякий раз демонстративно ложилась на узкую деревянную скамейку, что стояла во дворе, видимо, воображала себе, что лежит таким образом в тесном гробу. Лежала неподвижно, боясь свалиться на землю, скрещивала руки на груди, следила за дыханием, считала до ста, воображала себе льющуюся из крана воду и еще раз до ста, пока не задремывала и не начинала похрапывать, как бы перекачивая внутри собственной гортани мелкие, обточенные прерывистым дыханием-прибоем камешки.

Нет, не то чтобы Вожега ненавидел Зофью Сергеевну до такой нечеловеческой степени, чтобы совершить над ней бессмысленное и оттого зверское, даже лютое душегубство.

Например, размозжить ей голову сооруженной из обрезка арматуры кочергой!

Дело виделось совсем в другом!

В том, что ему было невыносимо любопытно, что же произойдет, когда Зофья Сергеевна повалится на пол в коридоре, на кухне ли, как раз рядом с газовой плитой, на которой всегда для тепла грелся огнеупорный кирпич, и с ее головы наконец слетит кустарным образом сделанный из синтетического суровья парик.

Слетит и улетит.

Что произойдет при этом? Да, скорее всего, ничего и не произойдет – Зофья Сергеевна будет лежать на полу, страдая от внутренних корчей, а парик закатится куда-нибудь под буфет или под раковину, пролежит там до ноябрьских праздников или даже до Нового года, там отсыреет и покроется колтунами.

На Иванов день приходили колдуны.

Петр и Павел час убавил, точнее сказать, убавили.

А на Ильин день змий в Язу мочился.

Егорий Хоробрый убил змия копием, точно таким, каким его выковывают для могильных оград.

А Вольфрам Авиэзерович работал сварщиком могильных оград на Ваганьковском кладбище.

В шкафу висели его костюмы – числом не более трех.

Три Царя – Каспар, Мельхиор и Бальтазар.

Впрочем, еще их принято именовать и волхвами, звездочетами, гадалщиками на высушенных и разложенных в специальных мощевиках насекомых.

Сверчках, например.

Сверчок выпрыгнул из помятого, пахнущего прошлогодними лежалыми листьями сарафана, в котором Зофья Сергеевна была на выпускном вечере в школе как раз накануне войны.

Запах войны – это вовсе не пороха никакого запах, не паленого мяса и бензиновой гари, а госпитальных, пропитанных гноем бинтов, сырого угля, курящегося куриным пометом, запах. А еще удушливый запах голода.

Смрад.

Всех голубей съели. Кошек, собак и рыб тоже подъели.

Все мальчики из ее класса погибли в первые месяцы войны.

Отмучились.

Отлетели.

Сквозняком открыло окно во двор.

Во дворе играли в «города и села» так – брали напильник, предварительно сняв с него деревянную рукоятку, втыкали его в землю и прочерчивали кривой эллипсовидный круг. Затем вставляли в середину этого круга и кромсали его кто во что горазд, изображая тем самым населенные пункты – «города» и «села». Соединяли их короткими или, напротив, длинными «мостами», по которым правилами игры было дозвоительно «ходить». Но только «туда» ходить.

А «обратно»?

Нет, нельзя обратно.

Зачеркивали, замарывали, выворачивали из земли камни, осколки битых бутылок, ржавую проволоку, стреляные гильзы или строительную арматуру.

Так играли с остервенением допоздна, совершенно превратив двор тем самым в поле сражения, изрытое траншеями и воронками от взрывов фугасных бомб и снарядов.

Потом подолгу отдыхали, сидя на груде сваленных у слесарных мастерских, откуда, собственно, и воровали напильники, лысых автомобильных покрышек, высвобождали накопившуюся за время игры злость.

Ярость.

Открывали рты, из которых валил густой слоистый пар, а еще пар исходил и от разрытой земли, обволакивал все голубоватой,пряно пахнущей продуктами гниения дымкой.

С реки тянуло холодом.

Вообще-то это было странно, во многом вопреки всем законам природы и потому практически необъяснимо, ведь змий-то мочился в реку каждый год приблизительно в это время,

а, стало быть, вода должна была сохранять тепло гораздо дольше, нежели в другие дни. Но этого не происходило. Правда, не следовало забывать и о том, что быстрое течение и ключи-студенцы делали свое дело, и даже жаркими июльскими днями купаться здесь решались немногие храбрецы.

Егорий Хоробрый отсек мечом змию голову и повесил ее на воротах Царьграда. Мол, пусть страшатся и любопытствуют.

По большей части, разумеется, любопытствовали – заглядывали в разгороженную мелкими желтыми зубами зловонную пасть, недоумевали, почему у страшилища такие нестрашные глаза, может быть, потому, что уже остекленели? Трогали лиловый, свисающий до подбородка язык.

Вожега свисал на подоконнике и смотрел вниз, а там, внизу, в окнах первого этажа, уже зажгли свет. Здесь жила семья французских коммунистов, приехавших в Москву еще в двадцатых годах, чтобы работать на радио Коминтерна.

Однако это не мешало им быть людьми довольно религиозными, они поклонялись Лурдскому образу Девы Марии, Фоме Аквинату и Блаженному Августину, были лично знакомы с архиепископом Яном Гиацинтовичем Цепляком и страшно переживали впоследствии, когда его расстреляли в Ленинграде. А еще они держали в потайном месте вырезанный из газеты «Юманите» портрет понтифика.

Рассказывали, что однажды кто-то из соседей написал на них донос, и к ним нагрянули сотрудники ОГПУ, но французы притворились, что не понимают по-русски, и просто мычали в ответ, «яко агнцы, ведомые на заклание».

Пускали слюни, писались под себя, воняли...

«Вот скоты, своих, что ли, идиотов мало, а тут еще эти недоумки понаехали», – молодой, в только что полученной форме лейтенант госбезопасности брезгливо пятился к двери, боясь испачкаться в испражнениях, коими, по его разумению, всегда изобиловал хлеб.

Хлеб из опилок.

Хлеб из отрубей.

Хлеб с маслом.

На русскую Масленицу Рубель, Луи, Роббер и Зиту всякий раз надевали на затылки вырезанные из картона и обклеенные фольгой нимбы и пели длинные заунывные канцоны на латыни, видимо, духовного содержания.

Гимны-гимны. Мычали-мычали. Агнцы-агнцы.

А ведь уже в самом слове «гимн» есть все признаки полного отсутствия в нем жизни, всякого движения соков, совершенного окончения конечностей.

«Гимн, гимон, кимен, гихм, гимх, химон, гимен» – попытка произнести эти словомумии, слова-уродцы высушивает гортань, буквально выжигает ее, превращает в потрескавшуюся киммерийскую глину, из которой они, эти слова, собственно, и вылеплены.

А Рубель, Луи, Роббер и Зиту лепили из хорошо просоленного хлебного мякиша монеты и оставляли на них оттиски профилей римских императоров, что прославились в свое время гонениями на первых христиан, – Максимиана, Юлиана Отступника, Галерия, Диоклетиана, Максимиана Дазы.

Затем на эти монеты можно было купить специально освященные семена для пасхального ящичка-реликвария, доверху наполненного землей, а потом откармливать едва проросшей здесь травой толстых, лупоглазых, страдающих булимией хомяков.

Хомяки беспомощно переваливались с боку на бок, озирались по сторонам, сопели.

Или нет, купить на эти монеты корм для рыб, что сонно плавали в пожелтевшем от слизи аквариуме. Плавали-плавали да испуганно пялились на расшитую стеклярусом восьмиугольную салфетку в виде рождественской звезды, которой этот аквариум был накрыт. Думали, что это небо такое над ними, ведь они другого-то и не видели никогда.

Зофья Сергеевна лежала на полу, накрыв лицо париком, чтобы не видеть, как небо перевернулось. Вернее сказать, потолок перевернулся. Это так всегда получалось, если лежать головой к двери или висеть головой вниз...

А Вожега свешивался головой вниз из окна второго этажа, тряс головой, усиливая тем самым внутри нее кровообращение. И вот из носа начинала идти кровь.

– Слышь, Вожега, иди в «города» играть! – звал коренастый, с красным, как каленый медяк, лицом парень по фамилии Румянцев, но почему-то при этом имевший прозвище Румын. – Или забоялся, Вожега? А?

Не дождавшись ответа, который его, впрочем, и не интересовал, Румын глубоко, с каким-то даже особенным удовольствием, остервенением ли втыкал напильник в землю, прочерчивал круг, тем самым показывая, что занял «город», и говорил: «Это мой город, Петербург».

Вообще-то у Вожеги было имя – Петр.

А Вожегой звали потому, что в Москву его привезли вскоре после войны из расформированного детдома, который находился в поселке Вожега, километрах в ста севернее Вологды, и поселили у его дальней родственницы по отцовской линии – глухой Нины Колмыковой, как раз в этом самом двухэтажном бараке на Щипке.

В те далекие времена, когда Вожега еще был Петром, он любил залезать на огромную, дымящуюся высохшим мхом гранитную кручу, в расселинах которой обнаруживались следы морских раковин, моллюсков и окаменевших водорослей. Это означало, что раньше, много миллионов лет назад, здесь находилось море, которое впоследствии то ли высохло совершенно, то ли поднялось и опрокинулось, оставив после себя лишь растрескавшееся дно, усеянное изъеденными солью скелетами морских животных.

И вот с этой кручи Петр смотрел вниз, на железную дорогу, на станцию, на пристанционные постройки, на поселок, наконец, который тогда казался ему целым городом.

Стало быть, этот город – Вифсаиду, Некрополис, Эммаус, Иштар, Коман, Петербург – Румын и занял, читай, вытоптал отцовскими лыжными ботинками, которые, как полный дурак, он носил на два шерстяных носка даже летом. Ну, прели ноги, конечно, прели, крючило пальцы, чувствовал мерцающие угли под ногтями, но выхода-то другого не было, потому как ботинки были размера на три больше, а носить-то что-то надо было. Вот и носил, вот и страдал, хотя в большей степени почитал страдание за привычку, а невыносимое – за желанное.

– Румын, а Румын, ты – дурак! – кривлялся Вожега и вертел указательным пальцем у виска, – понял?

– Выйдешь, убью, – деловито, даже не поднимая глаз, отвечал Румын и продолжал ковыряться напильником в земле.

«Наверное, он размахнется и со всей своей бычьей силы ударит меня кулаком в лицо», – ежился Вожега, когда отворачивал кран ручной мойки и подставлял затылок под ледяную струю, которая по шее и скулам стекала частью в раковину, а частью – за шиворот.

Становилось немного легче, и боль уходила куда-то внутрь головы, где пряталась в нору, чтобы таиться в ней до поры.

Зофья Сергеевна наконец вставала с пола, интуитивно поправляла парик, ведь она почти наизусть знала все неровности и шишки на собственной голове, а потом короткой, специально для того сооруженной из обрезка арматуры кочергой сдвигала с огня кирпич и ставила на его место чайник.

Говорила себе: «Главное, не забыть, после того как чайник закипит, вновь вернуть кирпич на огонь».

Смолу варили в чугунных таганах на берегу Яузы.

Тут же коптили рыбу.

Выкапывали в отвесных песчаных берегах пещеры, где охлаждали вино.

Пойло.

«Вот и к чаю все готово», – говорила Зофья Сергеевна.

Песок в жестяной с орнаментом в виде перевернутых вниз головой верблюдов банке из-под кофейного напитка да густого, коричневого от суточного лежания в заварке цвета вчерашний или даже позавчерашний лимон.

Этот лимон можно было давить ложкой до тех пор, пока он не переставал пузыриться и выпускать при этом из себя терпкую, пахнущую прелой хвоей кислоту.

Зофья Сергеевна всегда пила чай мелкими, каркающими глотками, будто бы в горле у нее со скрежетом двигалась медная, заплывшая масляной краской задвижка из тех, что уже невозможно отодрать даже плоскогубцами от разошедшихся и покосившихся окон веранды. Отбить молотком или кирпичом можно еще попытаться.

«Нет, не забыла, не забыла», – улыбалась она и передвигала кирпич обратно на конфорку.

От кирпича исходило тепло.

Потом кухонным полотенцем Зофья Сергеевна вытирала вспотевшие затылок и лоб, доставала со дна чашки то, что осталось от лимона, выбрасывала эти останки в ведро под раковину и кричала:

– Папа, чай будете?

– Нет, не буду, – доносилось глухое, хриплое бульканье откуда-то из глубины квартиры, – не буду, потому что ты, стерва такая, мой лимон сожрала!

– Ну как хотите, папа, а то я крепкий заварила – Кронштадта не видать.

– А к чаю у нас что-нибудь есть? – продолжал капризничать старик.

– Вы же знаете, папа, что к чаю у нас ничего нет.

– Ну тогда и не буду чай пить, только ссаться потом. Сама пей, дура!

– Что вы такое, папа, говорите, как вам не стыдно.

– Стыдно, у кого видно, а я правду говорю!

– Да уж, папа, вы вечно правду говорите. Вы со своей этой правдой надоели всем!

– Не смей, слышишь, не смей дерзить отцу, а то – проклянусь!

Через приоткрытую дверь Вожега заглядывал в комнату, где на железной кровати, придвинутой к самому окну, лежал отец Зофьи Сергеевны – Сергей Карпович Турцев, которого из-за его по-птичьему крючковатого носа и абсолютно полотняных, ввалившихся щек во дворе звали Куриным богом.

Куриный бог тяжело дышал, выпускал горячий воздух сквозь сложенные трубочкой-свищом острые губы, двигал подбородком-клювом, открывал глаза и закрывал глаза. Думал про горячий, крепко заваренный чай с сахаром и лимоном, только с настоящим лимоном, не лежалым, не вымученным, не размазанным ложкой по краям чашки, а живым, источающим янтарь.

Или сердолик.

Вообще-то раньше Сергей Карпович был личностью, достаточно известной в районе Щипка и Зацепского Вала, – он умел жонглировать кипящими самоварами, а также выдерживал скатерть с сервированного на двадцать персон стола, оставляя при этом сервировку безо всяких видимых глазу изменений. Также какое-то время он выступал за футбольную команду завода Михельсона.

Однако летом 1941-го его арестовали, и всю войну он провел в Дальлаге, откуда вернулся только в 1954 году по амнистии. О том времени он не любил вспоминать, не любил извлекать из головы названия полустанков, на которых по ночам останавливался их эшелон, – Макзон, Куэнга, Чифа, Магдагочи, Курлово.

А сейчас Турцев лежал на спине и говорил: «Курлы-курлы».

Трогал края одеяла, подоконник, теребил разбросанных на нем в беспорядке высохших мух, жуков, слепней. Надеялся, что они оживут, воскреснут, но не воскресали ни мухи, ни жуки, ни слепни.

Ослеп он, что ли? Будто не видел, что это всего лишь пыль, сухой, шелестящий на сквозняке мусор. Как он, интересно знать, может воскреснуть? Приподнимался на локте и грозно вопрошал в пустоту: «Кто здесь?»

Вожега тут и закрывал дверь в комнату.

Куриный бог – это камень с дыркой внутри.

На подоконнике лежала Книга.

Сквозняк перелистывал страницы Книги, а вместе с ними и главы, имевшие название «изобразительных». Однако продолжалось это недолго, потому как Книга вдруг оживала и вываливалась из окна второго этажа, беспомощно кувыркалась в воздухе, падала на землю. Разбивалась, конечно, вдребезги.

От удара страницы разлетались по всему двору, и их приходилось собирать, аккуратно вклеивать под расслоившуюся от удара о землю обложку.

Потом Книгу хоронили.

Это была целая церемония, которая заслуживает своего описания.

Сначала Книгу пеленали в пергамент и обмазывали сырой глиной, на которой собравшиеся на траурную церемонию по кругу оставляли отпечатки своих пальцев с ногтями – этими остатками рыбной чешуи. Затем, когда глина высыхала, получившийся куколь заливали смолой и в таком виде укладывали на украшенные старинной, весьма прихотливого плетения резьбой носилки и так несли по берегу Яузы до выкопанных в песчаном склоне пещер. Выбирали одну из них, предварительно достав из ее глубины бутылку охлажденного красного вина-пойла, которую тут же и выпивали за помин души усопшей Книги, потому что у каждой книги, как и у каждого человека, есть душа. Потом покойницу погружали в пещеру, заранее осветив ее масляными плашками, где и погребали, завалив вход огромным ледникового происхождения валуном...

Когда в доме погасли все огни, Вожега спустился во двор и лег на скамейку, на ту самую, на которой любила лежать Зофья Сергеевна, изображая из себя мертвую.

Так долго откуда-то сбоку, из-под руки глядел он в бурое низкое небо, которое ему напоминало обклеенную пожелтевшими вырезками из газет крышку сундука, стоявшего в кладовке. Думал-думал, прогонял от себя мысли, мычал, как это некогда делали французские коммунисты, изображая перед огепаушниками тварей бессловесных, а потом засыпал.

Хотя точнее сказать – «взял да и уснул». То есть сделал это мгновенно, сам не понимая, как это свершилось.

II

Вожеге приснился сон, будто он стоит на высоком железнодорожном мосту через глубокий овраг и, облокотившись на чугунные перила, смотрит вниз.

В то же время он стоит и на дне оврага. Задирает голову вверх и видит над собой старый железнодорожный мост, по которому, выпуская клубы густого сизого дыма, проходит маневровый паровоз.

Вожега совершенно не понимает, как он может находиться одновременно в двух местах, но именно это непонимание становится для него таким привлекательным и нестрашным, что, по сути своей, превращает его в некоего посвященного, могущего взглянуть на себя со стороны. Вернее сказать, взглянуть снизу и сверху одновременно...

Впрочем, сверху можно разобрать только обстриженную под машинку голову среди рассыпанных по дну оврага яблок.

Здесь в основном подгнившие дички.

Вожега, сам не зная зачем, наступает на них, давит, и из-под ботинок тут же выползает коричневая, пузырящаяся, так напоминающая яблочное забродившее повидло к чаю мякоть.

Вдруг паровозный гудок врывается внутрь головы.

Пронзительно.

Наверное, так же внутрь головы входят разнообразные звуки через вставленную в ухо медную слуховую трубу – дребезжащий звонок будильника, вольтова дуга, гудение пожарного рельса, электрический зуммер, щелчки в неспешно разгорающейся газоразрядной трубке.

Вожега резко поднимает голову вверх, тогда как стоящий на мосту смотрит вниз и пытается разглядеть лицо стоящего на дне оврага, того, что старательно-беспомощно задирет подбородок горе.

Вожега складывает у рта ладони рупором и просит его, самого себя, немедленно отойти в сторону, потому что он сейчас будет прыгать вниз и боится, что упадет на него, на самого себя, и задавит до смерти. Кричит, кричит что есть мочи.

Однако стоящий внизу не отходит, а продолжает придурковато подтягивать нижнюю челюсть к верхней и шуриться. Словно на солнце. Прикрывает сложенными козырьком ладонями глаза.

«Он что, глухой, что ли?»

Глухая местность.

«Да, я – придурок!» – звучит в ответ, звучит как приговор.

Придурок, пригород.

Итак, Вожеге снится эта глухая местность, этот пригород, где абсолютно непонятно откуда взялся идущий по мосту маневровый паровоз. Вероятно, его пустили в обход по запасному пути вне расписания.

Станция узкоколейной железной дороги – Игмас. Пусть будет так.

Это километрах в сорока от Вожеги.

Бревенчатое, крытое рубероидом здание вокзала.

В забранное сваренной из арматуры решеткой окно кассы видна небольшая, едва освещенная настольной керосиновой лампой комната. Из обстановки здесь только – стол, полупустой книжный шкаф, сваленные в углу дрова и печь, обмазанная глиной наполовину с цементом.

Жарко натоплено. Весьма.

В комнату входит высокая тощая женщина в брезентовой путевой куртке, надетой поверх телогрейки, и вносит в комнату никелированный таз, наполненный яблоками. Ставит его на стол. Начинает перебирать яблоки, откладывая гнилые и мороженые на подоконник. При этом некоторые яблоки падают на пол, катаются по нему.

В этой тощей женщине Вожега узнает свою мать. По крайней мере, такой она ему представлялась из сбивчивых, какие они вообще могут быть у глухого человека, рассказов Нины Колмыковой.

А яблоки все катаются и катаются по полу, как это бывает во время качки на корабле.

Потом Вожега делает несколько глубоких вдохов и выдохов, закрывает глаза и прыгает с моста вниз.

Вожега видит, как с моста на него падает человек, но при этом он остается стоять на месте, потому как ровным счетом ничего не может поделать с собой, будучи совершенно скованным страхом.

Или это все-таки не страх? Ведь подобное объяснение происходящего было бы слишком простым, даже примитивным, чтобы осмыслить и описать этот случай насильственной смерти в глухой местности. Недалеко от станции узкоколейной железной дороги Игмас.

Вожега проснулся от холода.

Из рта шел пар.

Над входом в барак горела электрическая лампочка.

Из железных, выкрашенных красной краской и приваленных к подоткнутой лохматой паклей бревенчатой стене шкафов с газовыми баллонами доносилось равномерное и однообразное гудение незакрученных вентиляей.

Бессонница.

Куриный бог страдал бессонницей: ворочался на своей скрипучей кровати, будучи изловленным продавленной до самого пола панцирной сеткой, ломило спину, проклинал себя за немощь, за старческий маразм, за то, что опять, по собственной же глупости и упрямству, остался без чая, хотя бы и пустого, хотя бы и без лимона, но все-таки кипятка, который бы согрел его, выступил бы на лбу каплями пота.

– Папа, вы не спите? – приоткрывала дверь в комнату Куриного бога Зофья Сергеевна.

– Представь себе.

И тут же адресовал вопрос к самому себе: «Почему я ответил именно так, с вызовом, с напускным раздражением, ведь мог бы ответить и по-другому – например, да, я не сплю, или что-то мне не спится, дочка. Однако ответил именно так – представь себе».

– Вам что-нибудь надо?

– Ничего мне от тебя не надо! Ничего я не хочу!

– Ну, как хотите, папа, – дверь в комнату Куриного бога медленно закрылась.

«А как это вообще – хотеть? И можно ли вообще чего-нибудь хотеть?» – Сергей Карпович с трудом перевернулся на живот и уткнулся лицом в подушку, как будто заглянул в ее недра, но ничего, кроме сто раз виденной-перевиденной картины, там не разобрал: опять по пустой утренней Зацепе, гремя на стрелках, медленно едет трамвай.

Мимо, в свете еще не погашенных уличных фонарей, проплывают бараки с занавешенными окнами, стоящие у ворот домов дворники, сваленные на перекрестках дрова. В трамвае едут только два пассажира – это сам Куриный бог, еще молодой, широкоплечий парень, нагло улыбающийся тому, что утренний, пробирающий до костей холод конца сентября всего лишь бодрит, и потому он с ним как бы на равных, дерзит, поплевывает, а также Куриный бог в его нынешнем плачевном положении – немощный, постоянно мерзнувший, вечно всем недовольный, в мокрых штанах, следовательно, резко пахнущих мочой.

Как тот самый змий-горыныч, что в Язузу-реку мочился, а она оттого все равно теплей не становилась.

Похож на змия, что ли? Выходит, так.

И вот эти два странных пассажира сидят рядом на одном сиденье, периодически обмениваясь более чем презрительными взглядами.

Наконец после многочисленных скрипучих поворотов трамвай вползает на Щипок и замирает напротив проходной завода Михельсона.

Здесь уже собралась молодежь вида работяги, которые при виде молодого Куриного бога начинают радостно размахивать руками, перемигиваться, лупить друг друга по одеревеневшим на утреннем холоде ляжкам и кричать: «Карпыч приехал, сейчас сыграем!»

А что это значит – сыграем?

Ну, во-первых, это значит, что они выйдут на поле, что расположено на задах заводских слесарных мастерских, пройдутся по нему, примериваясь, покурят, посидят на деревянных, врытых в землю у самой кромки этого самого поля скамейках и наконец напаяют кожаные, кустарным образом сделанные из старых военных ботинок бутсы.

Во-вторых, это значит, что они постучат уже обутыми ногами одна о другую и посмотрят, как дрожат икроножные мышцы. Так еще дрожит холодец, когда со всеми мыслимыми

предосторожностями его извлекают из-за окна на кухне, где он стоял последние два или три часа, и в помещение врывается обжигающий морозной сыростью воздух конца ноября.

Икроножные мышцы у всех разные.

Вот, например, у молодого Куриного бога они весьма развитые, упругие, и если напряжены, то напоминают перекрученные в узлы мокрые простыни, когда их выжимают, прежде чем повесить сушиться за барак, как раз напротив кирпичного брандмауэра.

А у старого Куриного бога икроножных мышц нет вовсе. Он без них живет.

Вынув голову из подушки, в которой, как ему казалось, он видел себя молодым, едущим в трамвае или приготовившимся играть в футбол, Сергей Карпович приподнялся на кровати и потрогал себя за ноги.

Нет, абсолютная тишина там, внизу, не то что раньше, когда прикасался к ногам, а они отвечали напряженным, утробным гудением трансформаторной будки, как будто бы через них под высоким напряжением пропускали электрический ток. И казалось, что мышцы вот-вот не выдержат, сначала, согласно немыслимой траектории, изогнутся в припадке, очокаются на какое-то мгновение, а затем и порвутся в клочья. Но этого, слава Богу, не происходило, напряжение постепенно спадало, судороги сходили на нет, боли затихали, и теперь оставалось лишь прислушиваться к подобию этих болей, к их образам и фантомам.

За этим странным занятием – искать внутри себя то, чего уже давно не существует, время всякий раз тянулось невыносимо медленно, потому как страх перед страданиями никак не мог угаснуть, отступить. Умереть никак не мог.

«Просто он бессмертный, этот страх, черт бы его побрал, – Сергей Карпович улыбался и трогал себя за ноги еще раз, – нет и еще раз нет, совсем тихо, совсем ничего не болит, значит, и бояться нечего, а ведь ради этого стоило жизнь прожить».

Страшно быть бессмертным, тоже своего рода фобия.

За окном начинало светать.

Жившие на первом этаже французы всегда вставали раньше всех в доме. Сквозь фанерные, обклеенные блеклыми, примитивного орнамента обоями стены было слышно, как на кухне они включали газовую плиту, сдвигали с нее огнеупорный кирпич, с грохотом ставили чайник, толпились у умывальника, смеялись негромко, видимо, брызгались, разбойники. Прокашливались. А еще щелкали выключателем, и электрическая лампочка над входом в барак обморочно гасла.

Начинался день.

Вожега очень хорошо запомнил тот день, когда он впервые оказался на Щипке.

Это было самое начало марта.

Грузовик, на котором его привезли в сопровождении толстой неразговорчивой тетки в синей шинели и в синей же форменной пилотке, пришпиленной к крашеным, как будто накрахмаленным буклям двумя заколками, въехал во двор ранним утром. Размесив дворовую грязь, подъехали к деревянному, обшитому ржавой, отодранной по углам жестью навесу над входом в барак. Остановились.

Заглушили двигатель.

Свет автомобильных фар уперся в груды сваленных лысых автомобильных покрывал.

Начинало светать.

Обжигающую морозную тишину нарушила целая серия протяжных паровозных гудков, донесшихся со стороны Павелецкой-товарной.

«Вот и приехали». – Тетка повела подбородком так, как это всякий раз делают боксеры, разминая шейные мышцы, после чего неожиданно бодро вскочила с деревянной скамейки, расположенной вдоль кузова грузовика, перевалилась через обшитый металлическим профилем борт и исчезла в утренней полумгле.

Петр замер.

В кабине грузовика закурили.

А протяжные паровозные гудки так и застряли где-то в проходных дворах, заваленных подтаявшим снегом, изрядно пропитавшимся мусором за зиму и оттого почерневшим.

Заблудились гудки и долго-долго бродили тут, на Щипке, напоминая вой собак и скрип разошедшихся половиц в бесконечной длины барачном коридоре одновременно.

«Ну, ты там чего, уснул, что ли? Давай вылезай!» – над кузовом замаячили голые теткинны руки, чуть ли не на треть выбравшиеся из рукавов шинели.

Улыбнулся, потому как уже раньше видел такие руки, поверх которых громоздились туловища ободранных животных из кукольного театра, что приезжал к ним в детдом во время войны. Животные разевали свои беззубые рты, сотворенные из папье-маше, и смешно трясли плешивыми головами: «Здравствуйте, мальчики и девочки, как вы себя ведете, слушаетесь ли воспитателей, делаете ли по утрам зарядку, моете ли по вечерам шею и глазки, гм-гм?»

Глазки, как алмазки!

Гм-гм.

А шофер тут же приоткрыл дверь кабины и схватил тетку за талию. Тетка засопела и стала нехотя вырываться. Шофер ослабился: «Ну и жопа, как орех...»

Петр зажмурился что есть мочи и тут же провалился в какую-то бездонную яму, из которой, впрочем, тут же донеслось: «Давай слазь, не бойся!»

Откуда-то из-под грузовика донеслось то есть.

Потом они подошли ко входу в барак, но электрическая лампочка, привинченная над самой дверью, тут же и погасла.

– Вот дьявол, тут себе ноги недолго переломать, – прошипела тетка и, еще крепче стиснув ладонь Петра, втощила его в парадное. Однако тут же, в этой кромешной, кажется, навсегда пропахшей варевом темноте, она, видимо, налетела на стоявшие рядом с лестницей пустые ведра из-под угля, опрокинула их и матерно выругалась.

Грохот, столь внезапно ворвавшийся внутрь головы, показался абсолютно страшным, просто адским еще и потому, что глаза не имели ни малейшей возможности различить хоть какие-либо предметы – почтовые ящики, к примеру, или те же ведра из-под угля. А стало быть, никак нельзя было увериться в том, что все происходящее есть явь, а не глубокий обморок, после которого неизбежно происходит остановка дыхания.

Апноэ.

И это уже потом дверь одной из квартир, расположенных на первом этаже, распахнулась, заливая пространство парадного ярким желтушным светом.

В ту минуту Петр с трудом понимал, о чем разговаривают эти столь внезапно явившиеся из вспышки электричества люди и тетка, которая привезла его сюда. До него, словно сквозь вставленную в ухо слуховую трубу, доносились лишь обрывки фраз, щелчки, удары парового молота, он смог разобрать только несколько слов – «детдом», «грузовик», «сапоги», «Колмыкова».

– Колмыкова из четырнадцатой? Так это на втором этаже. Мы сейчас включим вам свет.

То, как это было произнесено, показалось несколько странным, даже необычным, потому как раньше он никогда не слышал, чтобы русские слова звучали именно так.

Как так?

С превеликом трудом извлеченными из лексикона, что всегда приходится таскать за собой, рыться в нем, на что, разумеется, уходит уйма времени, впадать в смущение, трепетать внутренне, а еще всякий раз вставать в тупик перед многообразием значений и грамматических форм.

Как так?

Да не по-русски как-то...

Ага, теперь понятно...

Вскоре Петр узнает, что люди, включившие в бараке свет и подсказавшие, где находится четырнадцатая квартира, были французами.

Рубель, Луи, Роббер и Зиту явились в то раннее утро, как ангелы из столпа электрического света и клубов пара только что закипевшего чайника.

Ангелы всегда имеют нимбы, хотя бы и вырезанные из картона и обклеенные фольгой, звездами, всегда поют длинные, заунывные гимны на латыни, всегда ходят босиком, даже зимой, поздней осенью или ранней весной, всегда расчесывают костяными, украшенными перламутровыми вставками гребнями длинные волосы, которые потом перевязывают красными шелковыми лентами. Обладают и крыльями, разумеется.

Петр и подумал тогда: «Оказывается, здесь живут ангелы», – ангел Арх дудел в трубу, надувал щеки, пыжился, краснел и становился абсолютно похожим на вареную свеклу.

Архангел – то есть главный над всеми прочими ангелами.

Вовсе нет, не здесь они живут! Они на небесах живут!

А здесь живут Вольфрам Авиэзерович Кауфман, его жена Зофья Сергеевна с отцом Сергеем Карповичем Турцевым, семья Румянцевых, французы на первом этаже живут, рядом с ними хромой татарин Наиль с братом Рустамом и его женой Динарой, семья Павловых, Зоя Зерцалова со слепой матерью, сама же Зоя работает в регистратуре Института мозга на Обуха, сторож деда Миша по прозвищу Тракторист, а еще глухая тетя Нина Колмыкова, к которой только что откуда-то из-под Вологды привезли ее дальнего родственника по линии двоюродного брата.

Тетка в синей шинели пристально посмотрела на всех на них, на убогих – глухих, хромым, слепых, обитающих здесь, на Щипке, – «глаза бы мои всех вас, уродов таких, не видели», сплонула, потом довольно ловко забралась в кузов грузовика и со всего маху ударила кулаком по крыше кабины – «Давай, трогай!».

Так все начиналось.

Петр подошел к окну.

На улице совсем рассвело.

С высоты второго этажа можно было разглядеть большой прямоугольный в плане двор, с одной стороны упиравшийся в какие-то покосившиеся деревянные постройки и целую гору лысых автомобильных покрышек, а с двух других огороженный забором, прибитым прямо к деревьям.

Конечно, никакого своего двоюродного брата Нина Колмыкова не помнила. То есть знала, что он где-то там существует, но вот где именно и как его зовут – то ли Сергеем, то ли Павлом, никак не могла воскресить в памяти. Разве что фамилию могла назвать с уверенностью – Русалим, потому как и сама была Русалим в девичестве.

Стало быть, и мальчик лет двенадцати тоже был Русалимом.

– Тебя как зовут-то?

– Петром.

Замотала головой в ответ:

– Э-нет, вот тебе бумага и карандаш, пиши, я все равно ничего не слышу. Писать-то хоть умеешь?

Петр кивнул.

– Вот и пиши тогда!

И он написал: «Меня зовут Петром».

Колмыкова тут же взяла бумагу, поднесла ее близко к глазам, громко, как все глухие, прочитала: «Меня зовут Петром». После чего выпятила нижнюю губу и, прикрыв ею верхнюю, проговорила с усмешкой, но уже почти шепотом: «Петр и Павел час убавил».

Петр протянул карандаш.

– Оставь, он тебе пригодится. Давай-ка, Петр Русалим, раздевайся, будем с тобой чай пить.

Русалим – фамилия, распространенная на севере Вологодской области, где еще с XVII века селились беглые старообрядцы.

Русалим – Иерусалим, который в древности назывался Иевусом по имени родоначальника Иевусеев Иевуса. Впрочем, по другой версии, древность Иерусалимова восходит ко временам Авраама, когда город назывался Салимом, а царем и первосвященником в нем был Мельхиседек. Долина Иосафатова с потоком Кедром на востоке и долина Гион на юге и западе всегда служили Иерусалиму границами, на пологой же, как стол, круче Мориа с древних времен в городе располагался храм Соломона.

Петр сел к столу.

Стол возвышался, как место совершения ритуальных жертвоприношений на специально устроенном из гранитных валунов помосте.

Отсюда он смотрел вниз, на кривые, заваленные снегом улицы, на нестройные ряды домов, на трамвайную линию, на здание Павелецкого вокзала, на штабеля невыносимо пахнущих креозотом шпал, что так напоминали аккуратно нарезанные и сложенные на тарелке ломти черного хлеба.

А еще на столе стояла банка с яблочным повидлом.

При помощи столовой ложки можно было вычерпывать это повидло, намазывать его на хлеб и есть, запивая огненным, только что закипевшим чаем.

Изо рта шел пар.

Единственная, о ком из родственников Колмыкова сохранила хоть какие-то воспоминания, была мать Петра. Когда-то они даже вместе работали путевыми обходчицами на станции узкоколейной железной дороги Игмас, что находилась километрах в сорока от Вологды. На дежурство выходили затемно, долго брели по насыпи до моста, перекинутого через глубокий овраг, здесь проверяли стыки, перекуривали, стояли, облокотившись на чугунные перила, смотрели вниз, сплевывали туда же, а потом возвращались обратно.

Линия, проложенная еще заключенными, петляла среди курганов, которые наподобие волдырей, нарывов ли выростали в самых неожиданных местах заболоченной топи. Земля здесь болела, корчилась, просила прикончить ее поскорее, а еще исходила зловониями, которые пузырями поднимались из глубоких проток-пролежней, до краев заполненных абсолютно неподвижной чернильно-черной водой, в которой отражались верхушки корявых, по большей части высохших деревьев.

Петр заглядывал внутрь чашки с чаем и видел там свое отражение.

Тут же начинал кривляться – указательным и средним пальцами правой руки оттопыривал нижние веки, а большим пальцем той же руки раскорячивал нос так, что совершенно выворачивал при этом все содержимое ноздрей-нор. Глаза пучились, сохли и нестерпимо горели во время этой процедуры, словно в них бросили угли, а из глубины чашки, почти с самого ее дна, на него пялился страшный, стриженный под машинку уродец, вместо лица у которого был кукиш, сморщенный, что чернослив, извлеченный из недр покрытого растрескавшейся полировкой буфета.

– Ну ладно, хватит дурака валять. Смотреть противно. Если будешь себя так вести, я тебя опять в детдом сдам, там вот и строй из себя идиота, а у меня тут, знаешь ли, и без тебя забот хватает, – Колмыкова сгребла со стола банку с повидлом, пустые чашки и вышла из комнаты.

Петр остался один.

Впрочем, назвать это полным одиночеством было невозможно.

Со стен на него смотрели фотографии каких-то людей – мужчин в военной форме, женщин в длинных, доходивших им до самых пят пальто, стариков с абсолютно остекленевшими

глазами и, соответственно, устремленными прямо перед собой слабоумными взглядами, детей, в неестественных позах замерших рядом то ли с новогодней елкой, то ли с огромным домашним растением, живущим в деревянной, обклеенной старыми газетами кадке.

И вот все они смотрели на Петра с каким-то отчуждением, раздражением и непониманием, почему это он оказался здесь, в этом доме, в этой комнате, почему сидит за столом, за которым они раньше любили сживать, почему жрет их повидло и пьет чай из их кружки. Ведь он, криворукий такой, может разбить ее, эту кружку. И что будет тогда? Тогда они просто соберутся все вместе и будут его мучить, истязать, а может быть, даже и убьют.

Возможно ли такое?

Возможно.

Один раз это уже было в его жизни, в детдоме, когда его поймали душегубы из старшего отряда, затащили в умывальник, раздели догола и стали поливать ледяной водой, а одежду при этом выкинули через форточку на улицу. Он тогда посинел от холода, охрип от истошного крика, но на помощь к нему так никто и не пришел, дело было как раз перед Новым годом, и все воспитатели ушли в поселковый клуб.

Душегубов было четверо – Дерягин по прозвищу Гнилой, Вася Нищименко по прозвищу Стремяга, слабоумный Паша Дупло, который на Девятое мая избил директора интерната, и лопухий придурок Мальцев, которого выгоняли уже раз пять, но всякий раз возвращали с милицией, потому как идти ему было некуда. Отец его сидел где-то под Нижним Тагилом, а мать пила беспробудно.

Душегубы щерились, как голодные злые собаки, усмехались, поплевывали сквозь желтые, изрядно потраченные табаком зубы, топтались на месте, гыкали, дышали какой-то вареной-перевареной дрянью, кислятиной ли, хлебали из-под крана ледяную воду.

Горло сводила судорога.

Потом полтора месяца он с воспалением легких провалялся в детдомовской больнице, где и узнал, что после праздников их детдом будут расформировывать и часть детей переведут в Вологду, а часть должны будут забрать родственники.

И вот – больничная палата сжималась до размеров душной, темной пещеры, норы, которую Русалим сооружал у себя в кровати под одеялом из сбившейся простыни, подушки-блина и полосатого зассанного матраса.

Из матраса по треснувшим швам торчали клоки свалявшейся колтунами ваты.

У колдунов есть борода.

У Деда Мороза тоже есть борода.

Дед Мороз топтался в вестибюле, выходил курить на улицу, потом опять возвращался, видимо, нервничал, спрашивал у технички, лениво подметавшей пол, про «своего».

– А кто он – ваш-то? – звучало в ответ.

– Даже и не знаю толком.

– То есть как это? Зовут его как?

– Петром, точно Петром! – Дед Мороз решительно доставал из внутреннего кармана шубы маленькую, с замятыми краями фотокарточку и показывал ее техничке, – вот он! Только снято это лет восемь назад! Сейчас-то он, наверное, другой совсем. Вырос!

Петр со страхом выглядывал из своего укрытия и узнавал на фотографии себя.

Вопил в подушку что есть мочи:

– Да ведь это же я – Петр Русалим! Забери меня отсюда, Дед Мороз!

Техничка брала фотокарточку, подносила ее близко к глазам, рассматривала долго, поводила плечами – нет, не знает такого.

– Может, ошиблись вы?

– Не ошибся, он точно здесь, видать, запаздывает. – Дед Мороз прятал карточку, предварительно расправив ее края, и присаживался на обитую промятым до пружин дерматином банкетку.

Петр снова забирался в свою нору.

Как бы ему хотелось в эту минуту быть узанным, опознанным, найденным!

Как, например, гуляя вдоль железной дороги, можно найти огромную мертвую рыбу без головы. Долго рассматривать ее, трогать медного отлива чешую и острые плавники тут же подобранной сухой веткой, не понимать, разумеется, откуда могла здесь взяться. А потом взять да и пнуть ее ногой так, что она покатится вниз по откосу насыпи, увлекая за собой гравий, выпуская слизь, пока не исчезнет окончательно среди сваленных шпал. Точнее сказать, пока не заберется в невыносимо пахнущую креозотом нору и там не уснет.

Без головы?

Спит.

Петр спит.

Ничего не видит. Разве что огненно-красные венозные разряды внутри собственных век.

Спит беспокойно, часто просыпается, но, будучи скован, не имеет сил пошевелить головой ли, руками и вновь засыпает.

Хотя можно ли это назвать сном? Скорее это забытье, сумеречное состояние, на смену которому приходит хмурый, свинцовых оттенков рассвет.

Небо нависает над огромной, дымящейся высохшим мхом гранитной кручей, в расщелинах которой можно обнаружить следы морских раковин, моллюсков и окаменевших водорослей. Это значит, что раньше, много миллионов лет назад, здесь находилось море, которое впоследствии то ли высохло совершенно, то ли поднялось и опрокинулось, оставив после себя лишь растрескавшееся дно, усеянное изъеденными солью скелетами морских животных. Петр падает с этой кручи вниз, летит, проваливается в какую-то бездонную яму, но не ощущает при этом ни страха, ни смятения, ни тоски, ни боли.

Так продолжается до самого утра, пока наконец в палату не входит медсестра.

Она переворачивает Петра на правый бок и под левую руку запикивает ему градусник. Говорит при этом:

– Давай лежи, не двигайся.

Лежит и не двигается, не может пошевелиться, безвольно дает себя переворачивать, трогать, извлекать из-под левой руки скользкий горячий градусник, не чувствует боли от уколов и горечи от белого, столь напоминающего соль грубого помола порошка, что засыпают ему в рот.

Язык прилипает к нёбу.

– Опять тридцать восемь и девять, – вздыхает медсестра, стряхивает градусник, вытирает его извлеченным из кармана лохматым куском марли и выходит из палаты.

Идет по длинному полутемному коридору, приволакивает левую ногу – последствия автомобильной аварии, в которую попала, сказываются, что-то бормочет себе под нос.

– Да-а, видимо, я все-таки что-то напутал, – бормочет себе под нос Дед Мороз, нехотя встает с банкетки, на которой провел в ожидании, наверное, полдня, недоумевает – как же это так получилось-то все по-дурачки?

Еще раз достает фотокарточку и смотрит на нее.

«А-а, ну тогда другое дело», – заулыбались со стен все эти военные в начищенных до зеркального блеска сапогах и женщины в безразмерных пальто. Заулыбались при помощи своих беззубых ртов и старики с остекленевшими глазами: «Так бы сразу и говорил, что из наших. Из Русалимов. Ты покушай-покушай-то повидла с дороги. Оно нынче вкусное удалось».

И вот на одной из этих фотографий Вожега видит высокую тощую женщину, которая держит в руках никелированный таз, доверху наполненный яблоками. Здесь самые разные яблоки – спелые и с бочком, совершенно гнилые и незрелые, мороженые и исклеванные птицами. Яблоки вываливаются из таза, падают на пол и катаются по нему.

На полу под кроватью лежат чугунные гантели.

Вожега просовывает руку туда, в сумрачное подzemелье, где со сводчатого потолка свисают хлопья ваты и оторвавшиеся пружины, пробует сдвинуть хотя бы одну гантель. Сначала не получается, но потом все-таки удается поудобней упереться в мохнатый от пыли шар. Гантель медленно, как тяжело груженный товарный состав, трогается с места и, гулко грохоча по доскам, катится куда-то в кромешную морозную темноту самого начала марта, в темноту, которую изредка нарушают лишь протяжные паровозные гудки, что доносятся со стороны Павелецкого вокзала.

Уголь здесь выгрызают мятыми ведрами из глубокой, обметанной грязным снегом, словно рот больного горчичного цвета выделениями, норы.

Потом через пути, маневровые развилки, мимо платформ, доски почета, обитой по углам шифером, и колонии заправочных гидрантов несут это богатство в клуб железнодорожников.

А здесь, в предбаннике, уже не протолкнуться, все курят, покашливают, наклоняются над единственной, стоящей в углу, плевательницей, задевают друг друга локтями, смеются, говорят о том, что в буфет завезли пиво, но продают пока только боржоми.

«Что за прелесть этот боржоми», – и опять взрыв хохота.

Дверь в предбанник периодически открывается, и в этот момент можно разглядеть актовый зал, где над сценой висит огромный, украшенный искусственными цветами поясной портрет близорукого бородача в матерчатой фуражке. Бородач, как всегда, изображен держащим ладонь рядом со своим лицом, и кажется, что он прикрывает подслеповатые глаза от яркого полуденного солнца, а на самом же деле он таким образом приветствует всех, кто на него смотрит.

Про него с уважением говорят: «Наш Ильич».

Волнение нарастает. Люди копошатся перед входом в клуб железнодорожников, они хватают друг друга за горло, хрипят, пытаются пробраться за порог, срывают с плешивых или, напротив, лохматых, вариант, вспотевших голов шапки, скользят, падают в грязный, изъеденный углем снег, топчут друг друга, пускают слюни, у кого-то из носа или изо рта уже идет кровь, они скребутся пожелтевшими от табака ногтями в дверь, но в предбанник их не пускает вахтер в длинной черной путевой шинели и фуражке с дерматиновым ремешком, пропущенным под мясистым, гладко выбритым и покрытым испариной подбородком.

«Пошли, пошли вон», – приговаривает.

Его долговязая фигура отражается в выкрашенных серебряной краской стеклянных вставках двухстворчатой двери, ведущей в актовый зал.

Те, кому все-таки удастся проникнуть в клуб, в актовый зал проходят как-то нехотя, приволакивая ноги, хромя, покашливают, рассаживаются как можно дальше от сцены и все время поглядывают в сторону буфета. Однако на стеклянном прилавке ничего, кроме бутылок с минералкой, разглядеть не удастся.

Мучимы жаждой.

Вдруг Вожега почувствовал эту нестерпимую сухость во рту, когда язык оказывается полностью обездвиженным, можно даже предположить, что он обугливается и так лежит под потрескавшимся небом.

Жажда.

Зной.

На раскаленную сковороду высыпают мелко наструганный черствый хлеб.

«Сухари будут. Не выбрасывать же», – говорят в таких случаях.

Вожега думает про водопроводный кран. Про обычный медный кран, обреченный вечно заглядывать внутрь стока, именуемого также и фуфлом.

Опять фуфло всякой дрянью забилося.

А гантель уже далеко, до нее не дотянуться, ее не разглядеть.

– Ты откуда такой взялся? – вдруг проговорила круглая, как футбольный мяч, голова с калено-красного отлива лицом, что неожиданно появилась в дверном проеме.

– Из Вожеги и взялся.

– А я – Румын, то есть Румянцев. Понял?

– Понял.

– Пить хочешь, Вожега?

– Хочу.

– А я – ссать. Не дадим друг другу умереть! – Румянцев захохотал: – Ладно, шучу. Пошли...

Они вышли в коридор и, спустившись по деревянной лестнице, оказались в тесном тамбуре, на стенах которого висели прибитые вкривь и вкось почтовые ящики с наклеенными на них названиями газет – «Правда», «Красная звезда», «Труд», «Гудок».

Под лестницей гудит сквозняк из подполья.

Румянцев завернул под лестницу:

– Пей.

Здесь в небольшом, более всего напоминавшем огромный бельевой шкаф алькове находились раковина и вмурованное в стену ровно над краном зеркало.

– Тут мой отец каждое утро бреется. А у тебя есть отец?

– Нет.

– Я прошлым летом из Яузы воду на спор пил. Мы туда с отцом ездили купаться. Точно такая же, говном воняет! – проговорил Румын, а затем наклонился к раковине и под перекрученную, извивающуюся наподобие змеи струю ледяной, перламутрового оттенка воды подставил рот, который тут же до краев и заполнился этой пахнущей проржавевшей канализацией водой. Тут же и загыкал, потому что вода пошла не в то горло, закашлялся, закопшился.

Вот приблизительно так жизнь Вожеги на Щипке и началась.

III

А потом дни здесь потянулись один за одним, все быстрее и быстрее, слились в единый однообразный поток, и к майским праздникам Вожеге уже казалось, что он жил тут всегда.

Как жил?

Да очень просто жил – просыпался каждое утро в шесть часов, потому как Колмыкова собиралась на смену, она работала путевым обходчиком на Павелецком вокзале, пили чай, потом они с Румянцевым брели в школу, расположенную рядом со стадионом «Красный пролетарий», дрались по дороге, разумеется, а после уроков до самой темноты играли во дворе в «города и села».

Совершали это таким образом – делились на «завоевателей» и «защитников», брали давно украденный с кухни столовый нож, втыкали его в землю и прочерчивали эллипсовидный круг. Затем вставляли в середину этого круга и кромсали его кто во что горазд, изображая тем самым населенные пункты. Соединяли их короткими или, напротив, длинными «мостами», по которым правилами игры было дозвоительно «ходить».

Но только «туда» ходить.

«Обратно» – нет, нельзя обратно.

Потому и получалось довольно часто, что одна нога застревала в одном «городе», а другая нога – в другом. Причем конфигурация расположения населенных пунктов на местности могла быть абсолютно немислимой, и, следовательно, удержать равновесие удавалось далеко не всегда. Какие преимущества это давало «защитнику»? Только одно – разбежаться и со всей силы ударить «завоевателя» по нависшей над его «городом» или «селом», как грозная туча, заднице ногой. Разумеется, сделать это, целиком воспользовавшись его беспомощностью и неспособностью в данный момент ответить тем же.

И уже после Румын догонял Вожегу, валил его на землю и долго бил, пока не расцарапывал костяшки кулаков до крови.

Когда же наконец все заканчивалось и за прерывистым сопением уже не было никакой возможности разобрать ни слов, ни имен, но только гудение крови внутри собственной головы, наступала полная тишина, лишь изредка нарушаемая всхлипываниями Вожеги. Как если бы он, например, надевал себе на голову пакет из-под картошки и начинал в нем задыхаться, хрипеть, биться в судорогах, слабеть, а также и вещать при этом загробным голосом молитву, если бы знал ее: «Блаженны плачущие, яко тии утешатся. Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят».

Блаженства.

Блаженный он, что ли? То есть не держащий в сердце своем зла ни на кого.

Потом, разумеется, мирились и подолгу отдыхали, сидя на куче сваленных у слесарных мастерских лысых автомобильных покрышек, высвобождали накопившуюся за время игры злость. Ярость.

Открывали рты, из которых валил густой слоистый пар, а еще пар исходил и от разрытой земли, обволакивал все голубоватой,пряно пахнущей продуктами гниения дымкой.

С реки приятно тянуло холодом и сыростью.

– А мне вот отец рассказывал, как во время войны, когда он еще жил в деревне, там в школе свели с ума училку, – Румын усмехнулся и яростно почесал глаз.

– Зачем свели с ума?

– Да так получилось, не хотели, конечно, а она вдруг взяла да и сошла с ума, дура. Ее потом в райцентр увезли. Лечиться.

– Ну и как, вылечили?

– Нет, конечно. Мне отец сказал, что уж если один раз сойдешь с ума, то это навсегда.

– Понятно. Жалко ее как-то.

– Кого? Училку-то? Вообще-то жалко, конечно, но кто ж знал, что она такая нервная оказалась.

– А как ее с ума-то свели?

– Как? Немца мертвого из-под снега выкопали и ночью к училкиной двери прислонили, как будто бы он войти хочет. А она утром дверь открыла, чтобы в школу идти, а тут немец мертвый стоит, весь обледенелый, ну она тут же с ума и спрыгнула.

– Страшно.

– Чего страшного-то, его ведь наши еще в самом начале зимы убили. Он уже давно мертвый был. – Румын зевнул. – Ладно, надоело, пошли домой, поздно уже.

– А он чего, так и стоял?

– Кто стоял?

– Немец тот.

– Нет, конечно, когда училка дверь открыла, он на нее и упал. Получилось, будто он ее обнял... – на какое-то мгновение Румын еще задумался, словно размышлял, стоит ли продолжать разговор на эту тему, потом, видимо, приняв решение, махнул рукой, резко поднялся с автомобильной покрышки, на которой сидел, и пошел к барaku.

Хлопнула входная дверь.

Вожега остался один.

Во время мытья в глаза затекла мыльная вода, и Вожега заорал как резаный.

Во время откапывания мертвого немца в сапоги затекла вонючая жижа, и носки тут же прилипли к войлочным стелькам.

Во время танцев в клубе железнодорожников за обшитый накрахмаленными кружевами воротник табелящицы Павлины Колмогоровой затекли слюни. Павлина вспыхнула и проговорила, чуть не плача: «Как же вам не стыдно, товарищ Коноплев, а еще на доске почета висите!»

Вожега остановился перед доской почета, с которой на него из-под колючих, как растущие у привокзальной котельной кусты, черных бровей немигающим взглядом смотрел выбритый под машинку человек во френче.

Ведро с углем страшно оттягивало руку.

Наверно, страшно в этих кустах-кущах оказаться.

– Ну чего уставился, пацанчик?

Вожега отпрянул назад и разжал кулак.

– Ты чей такой будешь? А? – Коноплев неспешно достал из нагрудного кармана гимнастерки папиросы. Закурил.

Ведро с грохотом рухнуло на землю, перевернулось, покатило под уклон, но, наткнувшись на торчавший из земли загнутый обрезок трубы, замерло.

– Глухой, что ли? Испугался?

Вожега только и смог что затрясти головой, попытался даже ответить что-то, но горло намертво залепил огромный, совершенно непонятно откуда взявшийся ком желтоватых соплей.

– Ладно, не бойсь, пацанчик. Не трону. Курить будешь?

– Не-а, не буду...

– Ну и дурак. Ведро не забудь.

Вожега тронул выцветшую фотографическую карточку на доске почета, даже поскреб ее ногтями.

Ногти и на ногах есть.

Внутри лыжных ботинок – темно и нестерпимо душно.

Сначала пальцы лежат неподвижно, думают, что скоро все это закончится и надо просто немного повременить, потерпеть, пока разберутся, пока поймут, что здесь вкралась какая-то ошибка, и их тут же освободят. Дадут вволю надышаться свежим морозным воздухом. Однако постепенно приходит осознание того, что перемены участи дожидаться не следует, что о них уже давно забыли и вспомнят, может быть, когда они начнут издавать резкий одуряющий запах, покроются пролежнями и нарывами, так напоминающими древесные грибы-чаги.

Понимание этого придавливает, вызывая отчаяние, смертельную усталость и безразличие. Значит, придется ждать физического страдания как избавления от страдания душевного, причем какое из них желаннее, остается только догадываться. А пока пальцы покрываются липкой горячей испариной – почему так темно здесь? Говорят, что в сандалиях все совсем по-другому, там светло и просторно, можно даже выглядывать наружу.

А здесь темно, потому что темница, застенки, узилище, и язык, сверху туго перетянутый шнуровкой, – это наглухо закрытая дверь.

Пальцы судорожно перебирают свалявшийся ворс шерстяных носков, но чем истеричнее они выполняют по своей сути однообразные и бессмысленные движения, тем быстрее приходит изнеможение.

Румын открывает дверь, и тут же до него доносится пронзительный голос матери: «Быстро снимай ботинки и проходи к столу!»

«Начинается», – ворчит, садится на пол, скрючивается и возится со шнуровкой. Потом, вывернув ногу, сдирает ботинок, который тут же и улетает куда-то в глубину коридора.

«Сколько раз тебе говорила, не швыряй ботинки по всему дому!»

Румын заваливается на бок и так лежит какое-то время, как бы пережидая взрыв материнского гнева. Затем принимается за другой ботинок. Сопит, воет от обиды, проклинает прошитое леской и терпко пахнущее кирзой голенище.

Впрочем, экзекуция над самим собой заканчивается неожиданно быстро – мать, не говоря ни слова, срывает с ноги Румына лыжный ботинок, после чего, взяв ботинок за пятку, всаживает им Румынцеву увесистую оплеуху:

– Иди жрать!

Жрать – это значит есть как свинья – чавкать, облизывать пальцы и тут же вновь погружать их в горячее варевцо, а еще пукать-пукать, совершенно при этом не сдерживаясь, не стесняясь, но даже, напротив, нарочито приподнимать поочередно то левую, то правую ягодицу и выпускать из-под себя терпкие ветры.

Испытывать облегчение, томиться, источать зловоние, трепетать, полностью осознавать свое недостойнство, мерзость, икать, разумеется, доводить до иступления присутствующих при этом крайне недостойном мероприятии соседей по коммунальной квартире, этих спостников и сострадальцев по коридорной системе.

А ведь они тоже бывают ох как далеки от совершенства! Особенно когда напиваются на Восьмое марта или на День Победы, орут песни, бесчинствуют, лезут драться.

В коридор вышла мать.

Ее массивная фигура тут же перекрыла дверной проем еще и потому, что она уперла руки в боки и сразу стала похожа на круглолицую, крутобедрую ударницу труда, скуластую бабу-колхозницу, какими их всегда изображали на плакатах, повела плечами и запела низким грудным голосом: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля...».

Притопнула и прихлопнула лыжным ботинком.

Румын зажмурился от боли.

– Я не виноват! – задышал отрывисто. – Это правда не я!

– А кто тогда? – Мать нависла над Румыном, как туча, выдвинула вперед подбородок, стала страшно вращать глазами.

– Кто?

– Да. Кто?! Дед Пихто?

– Нет, это Вожега!

Совершенно не ожидая услышать такой ответ, мать на мгновение опешила, отпрянула, прибрав при этом подбородок обратно и прищурившись почти до полной, кромешной темноты.

Сразу стало темно.

Хотя в этом не было ничего необычного, потому как перебои с электричеством в клубе железнодорожников, что находился в самой отдаленной части привокзальной территории, случались довольно часто. Сначала начинала мигать висящая над входом лампочка, упрятанная в эмалированную, обколотую по краям миску светоотражателя, затем в буфете гас свет, и наконец вырубался пульт управления сценической машинерией. Все погружалось в мерцающую потрескивающим паркетом темноту, изредка нарушаемую разного рода звуками...

Какими?

Ну, например, из курительной комнаты мог доноситься приглушенный, простуженный, а потому и хриплый смех находящихся в увольнении солдат или путейцев в черных, едва доходящих до поясницы бушлатах. Еще могли звучать далекие, словно плывущие в утреннем тумане, гудки маневровых мотовозов, отрывистые, так напоминающие лай собак

переговоры по громкой связи да монотонное гудение высоковольтных проводов могло совершенно безраздельно заполнять собой пустой зрительный зал, фойе, украшенные плакатами советских фильмов коридоры, предбанник, насквозь и безжалостно растерзанный сквозняками, и, конечно же, буфет.

Вот такими звуками!

Вожега поставил ведро с углем на пол.

В буфете ничем не пахло! Ведь в столовках, в привокзальных забегаловках, даже в кассовых залах всегда чем-то да пахнет – лежалыми на эмалированном, с загнутыми краями подносе бутербродами, пережаренной яичницей, прелыми салфетками, кипящим с утра до ночи варевом, на поверхность которого изредка выныривают ломти рогатого картофеля и перья расслоившегося лука, а здесь нет, ничем не пахло.

Странно и страшно это.

Значит, осмыслить данное пространство и тем более вспомнить много позже, что же здесь, собственно, происходило, не представляется возможным. То ли просмотры кинофильмов происходили, то ли танцы по выходным, то ли собрания партактива железнодорожников. Впрочем, все эти мероприятия со временем мешались в какую-то немыслимую умозрительную круговерть – истошные вопли «Сапожник!», когда рвался пересохший целлулоид киноплёнки, надрывные пассажи духового оркестра, полукругом расположившегося на сцене, доводящее до одури шарканье танцующих пар, пар, выползающий изо рта, бывало и такое, а также заунывное, какое-то тусклое, гипнотического свойства бормотание касательно трудовых успехов занесенного снегом транспортного узла на окраине Москвы.

Вспышка – и яркий желтый свет резанул по глазам.

И только теперь Вожега понял, что же он натворил на самом деле. На него, грязного, пахнущего креозотом, с вытекающими из ноздрей соплями, с трудом пытающегося поднять ведро с углем, чтобы уйти, теперь в полнейшем недоумении пялились все, кто на данный момент времени находился в буфете: фронтовики, путейцы, рабочие из слесарных мастерских, официантки, солдаты из строительного батальона, уборщицы.

Зачем, ну скажи на милость, зачем ты приперся сюда в таком непотребном виде, почему именно с этим грязным ведром, которое ты должен был отнести в котельную, а притащил зачем-то сюда, притом что в котельной тебя уже битый час дожидается Федор Дмитриевич, курит, матерится про себя, проклинает тот день и час, когда сдуру, исключительно сдуру, сподобился отправить тебя, дурака такого, за углем, и вот – с чем он остался, да ни с чем! Говорю – ни с чем остался! И ему ничего не остается делать, как сидеть на покрытой изрыгающим из себя драную вату ватником скамейке и тупо смотреть на угасающий в топке огонь. Скотина! Скотина ты! Истинно говорю тебе! Причем, что немаловажно! Если бы ты, придя в буфет, смог умело воспользоваться этим запретным посещением – ну, например, украл бы и потом, спрятавшись за дровяным сараем, сожрал бы пирожное! Или ромовую бабу какую-нибудь! Так ведь нет же, черт бы тебя подрал! Нет! Ты, совершенно как слабоумный, встал посреди, изгадил не так давно навощенный паркет, хорошо, что хоть еще не обмочился прямо тут на него же. Со страху, со страху, конечно же, ведь ты все прекрасно понял, когда включили свет. Понял, что в очередной раз стал пленником собственной глупости, заложником собственного отчаянного положения, когда ты совершенно один и не имеешь ни малейшей возможности посоветоваться с кем-либо о том, как должно поступать в том или ином случае. Таким образом, получается, что ты и не виноват вовсе. Но тогда кто же виноват, ведь должен же быть кто-то обязательно виноват!

Сразу стало светло.

Когда в зале клуба железнодорожников включили свет, все наконец и увидели Вожегу.

– Это он, это он, – затыкали в него пальцами официантки, – вообще непонятно, как его сюда пустили, уроды такого!

– Я не виноват, – отрывисто задышал и начал пятиться к двери, – это правда не я! Честное слово!

– А кто тогда? Пушкин, что ли? – Взрыв хохота рухнул с украшенного примитивной лепниной потолка прямо на голову и оглушил.

– Ведро забирай, засранец! – покатилося вслед.

И еще: «Вожега, Вожега, зарезал нас без ножика!»

Но Вожега ничего этого уже не слышал, он только мог видеть неистовую пляску десятков ртов, которые выписывали совершенно невысказанные геометрические фигуры, округлялись, принимали форму многоугольников или вытягивались в прямую линию, что могла и змеиться время от времени полозом. Впрочем, некоторые рты не принимали участия в экзекуции, так как были заняты старательным пережевыванием бутербродов, которые удалось прихватить из буфета, воспользовавшись общей неразберихой.

Как добрался до дома, Вожега не помнил. Осознал себя уже лежащим на кровати, повернувшись лицом к стене.

– Ты бы хоть ботинки снял.

Нина села рядом и принялась возиться с выпачканной угольной пылью шнуровкой. – Не плачь, на меня тоже часто орут, но я все равно ничего не слышу, только вижу, что они орут как оглашенные. Обидное, наверно, что-то говорят, а мне тихо-тихо. Хочешь мне что-нибудь написать?

Вожега замотал головой.

– Ну и ладно, я и так все вижу. Давай поплачь. Можешь за меня спрятаться.

IV

Ангелы спрятались до поры, чтобы не нарушать привычного распорядка, заведенного в доме на Щипке. Если утром тут еще бурлила какая-никакая жизнь, то часам к одиннадцати все затихало. Барак пустел. Разве что Куриный бог, слепая мать Зои Зерцаловой с первого этажа да сторож деда Миша по прозвищу Тракторист подавали признаки жизни. В том смысле, что бормотали что-то себе под нос, ворчали, переругивались, если представлялась такая благая возможность, пытались подогреть себе хотя бы чай, но проявляли при этом полнейшую беспомощность. Разве что Наиль иногда оставался дома, так как одно время работал на привокзальных складах сутки через двое. Вот он мог еще как-то помочь убогим инвалидам, но, откровенно говоря, делал это с неохотой, потому как сразу же становился предметом бесконечных замечаний и советов, учесть которые в здравом уме не было никакой возможности.

Наиль, Рустам и Динара Рамазановы примеряли на себя ангельские крылья. Для той надобности они привязывали к рукам белые простыни и веяли ими, воображали себе, как архангел Джабраил возносился над гористой местностью, над пустыней ли, обозревал пространство и находил его непригодным для жизни. А еще восходил на огромную, дымящуюся высохшим мхом гранитную кручу, в расселинах которой обнаруживались следы морских раковин, моллюсков и окаменевших водорослей. Это означало, что раньше, много миллионов лет назад, здесь было море, которое впоследствии то ли высохло совершенно, то ли поднялось и опрокинулось, оставив после себя лишь растрескавшееся дно, усеянное изъеденными солью скелетами морских животных.

Спора нет, жить на этом кладбище было решительно невозможно. Но, видимо, здесь ангелы и прятались, таились в береговых пещерах, закутах, промоинах, возникших, скорее всего, еще в те далекие времена, когда тут была вода. Теперь же здесь оставалось лишь пить густой горячий воздух, давиться им, захлебываться им, а он медленно и надменно заполнял изнемогающие от полуденного солнца низины да заросшие проволокой кустарника овраги.

Приговоренным связывали руки за спиной колючей проволокой, ставили на колени, после чего приговор приводили в исполнение.

Это сейчас Коноплев, тот самый, что испугал Вожегу у доски почета и во время танцев в клубе железнодорожников напускал слюней за обшитый крахмаленными кружевами воротник табельщицы Павлины Колмогоровой, работал на станции по хозяйству. А вот раньше он служил в ликвидационной команде где-то в районе Бутовского полигона, был даже в звании, при погонах, командовал подразделением. Правда, о том времени рассказывать он не любил, вот разве что про колючую проволоку почему-то любил вспоминать и про то, что после авральной работы притупляется аппетит и нарушается пищеварение. Ну там мучает изжога, тошнит, а слюна становится густой и липкой, так что и не отплюнешь ее сразу. Порой даже приходилось пальцами освобождать рот от накопившегося терпкого месива.

Есть такое слово – «месивцо».

«Вот щас месивца намесим и будем лепить из него фигурки разных зверушек к Новому году, а потом их съедим» – так говорили в детдоме.

Вожега хорошо запомнил именно эти слова.

А потом наступало и само действие: ладони проваливались в перламутрового оттенка глинообразную пузырящуюся топь, кастрюля начинала со скрипом ездить по столу, заминать клеенку, а локти, вываливаясь из-за спины, выписывали совершенно немыслимые криволинейные траектории.

Дети заглядывали в приоткрытую дверь и всякий раз не могли сдержать восхищения, потому как ряд только что вылепленных фигурок неотвратимо полнился. Были тут и собаки, и лисы, и слоны, и медведи, и пузатые сонные рыбы, и змеи, и даже бегемоты.

Дети облизывались – «вкусненько, вкусненько», – говорили вполголоса, замирали, даже боялись дышать, давились от счастливого смеха, но всячески затыкали себе рты руками, чтобы не быть обнаруженными и выгнанными из-под двери. Мол, чего уставились, сорванцы, марш спать, а завтра будут вам подарки. Стало быть, нет, не удалось спрятаться, как ангелам, схорониться...

Петр Русалим понуро брел по коридору в свою палату, ложился поверх одеяла и долго безо всякого смысла и участия смотрел в потолок.

Погружался в сумеречное состояние апатии, безразличия ко всему, что происходило или имело возможность произойти. Тут же и произойти! Например, спавший на соседней койке Лебедев мог вскочить спросонья, закричать что-то нечленораздельное, дико озираясь вокруг себя, мог даже упасть на пол, однако почти сразу как-то виновато и затихнуть, перестать сучить ногами, подобрать под себя крученое-перекрученное одеяло и заснуть.

Нет, решительно до всего этого Петру не было никакого дела, он прекрасно знал, что это могло произойти, как, впрочем, могло и не свершиться. Просто являлось каким-то в высшей степени незначительным, абсолютно ничего не значащим эпизодом.

Мало ли таких эпизодов?

Например, на прошлой неделе на уроке Русалим оглох, потерял слух. До него доносились лишь странные звуки, более напоминавшие урчание кипятка в хитросплетениях труб парового отопления, но никак не членораздельная речь. Слов было не разобрать абсолютно, хотя по артикуляции, по жестам рук и по тоскливым взглядам учеников можно было догадаться, что именно происходит в классе. Рот учительницы свирепствовал, он более всего напоминал пещеру, из которой на свет Божий вырывались слова, несущие унижение и страх. Мрачную обстановку во многом дополняли висевшие на стенах портреты писателей, что с укором и назиданием смотрели на сидевших за партами идиотов, не умевших различить выписанные на доске с каллиграфической тщательностью буквы.

Закрыв ладонями уши и погрузился в полную тишину. Впрочем, и эту гулкую тишину едва ли можно было бы назвать полной. Спустя какое-то время нарастание грохота перекачивающейся в висках крови становилось совершенно невыносимым.

Так, пожалуй, бывает, когда наблюдаешь за приближающимся железнодорожным составом – сначала где-то, очень далеко, слышатся раскаты слившихся воедино паровозных гудков, ударов стальных колес на рельсовых стыках, трубного гула ветра и монотонной вибрации шпал. Однако постепенно и неотвратно вся эта чудовищная в своей основе какофония заполняет все жизненное пространство, хотя бы и выложенную бетонными плитами для лучшей акустики оркестровую яму, что уступами из-под железнодорожного моста спускается в глубокий овраг.

Или вот еще эпизод. Станция узкоколейной железной дороги Игмас.

Если идти дальше вдоль линии, то попадаешь в местность, которую исполосовали овраги и которая заросла густым непроходимым кустарником.

Вожега плохо ориентируется здесь и потому бредет медленно, постоянно проваливаясь в заполненные черной пузырящейся водой ямы. Наконец он оказывается в глубоком овраге как раз под железнодорожным мостом. Тут тихо, пахнет креозотом, тут можно передохнуть, привалившись к выложенному бетонными плитами уступу, а еще тут можно развести костер и просушить на огне ботинки.

Впрочем, просушить их толком, разумеется, не удастся. Более того, они превратятся в пылающие ботинки, выгорят дотла, до кирзовых подошв, которые будут источать душливый дым.

Вожега задирает голову вверх и видит, как по мосту, выпуская клубы густого сизого дыма, проходит маневровый паровоз, а пронзительный паровозный гудок врывается внутрь головы.

Он столь же невыносим, как если бы проходил через вставленную в ухо медную слуховую трубу дребезжащий звонок будильника, гул вольтовой дуги, грохот пожарного рельса, электрический зуммер или же щелчки в неспешно разгорающейся газоразрядной трубке.

«Господи, как все по-дурацки получилось, да тут еще и ботинки сжег к чертовой матери», – Вожега хочет заплакать, но слезы почему-то никак не выдавливаются из его глаз, и остается лишь придурковато подтягивать нижнюю челюсть к верхней и щуриться, щуриться, словно на солнце, прикрывать сложенными козырьком ладонями глаза.

Потом маневровый паровоз исчезает, рождая самые невообразимые догадки о своем появлении, хотя, что и понятно, основной вопрос так и остается без ответа: «Откуда он мог взяться здесь, в этой глухой местности, может быть, его пустили в обход, по запасному пути, вне расписания? Впервые пустили?!»

V

Впервые мертвого Вожега увидел, когда не стало Куриного бога.

В то утро он проснулся оттого, что кто-то гладил его по лицу. Это было такое странное, почти совсем забытое чувство, притом что вспомнить, откуда именно он получил этот навык, уже не представлялось возможным. Скорее всего, из младенчества, когда сквозняк перемещал кисти занавесок по длине подоконника, выписывая ими замысловатые рунические узоры, прикасался газом к подбородку, губам, лбу, создавая при этом полную иллюзию того, что кожа на руках может быть абсолютно не шершавой, но шелковистой, полностью лишенной всяческих неровностей, мозолистых наростов и трещин. «Дай мне твои руки», – могло быть произнесено в равной мере как очень тихо, почти шепотом, так и громко, с невыносимо ледяными интонациями в голосе. Кстати, а откуда мог исходить этот голос? Был ли он мужским или женским? Небесным или подземным, то есть дьявольским?

Вот собака завывала.

Рельсы поют.

Поют песню в клубе железнодорожников.

Песню о нелегкой судьбе железнодорожников.

Доска почета трещит на сокрушительной силы ноябрьском ветру.

Утро оглохло.

«Просыпайся, сегодня ночью я умер», – Вожега открыл глаза и увидел сидящего рядом с ним на кровати Куриного бога.

– Не бойся, это я тебя гладил по лицу, – улыбнулся Куриный бог, – просто сначала не хотелось тебя будить.

Потом помолчал и добавил:

– А меня, видишь ли, уже нет. Вот пришел с тобой попрощаться, все-таки соседями были. Да?

Ничего не соображая, Вожега кивнул в ответ:

– Ага...

– Они там сейчас меня – завернутого в зассанную простыню, выносят из комнаты в коридор, переругиваются, боятся уронить на пол, волокут, задевая за приваленные к стенам ящики, шкафы, велосипедные рамы, пахнущие карболкой тазы, не могут никак развернуться на лестничном марше, идиоты! А мне, веришь ли, мне так смешно наблюдать за всем за этим отсюда, где со стен на меня смотрят фотографии этих людей.

– Каких таких людей? – Вожега, кажется, начинал осознавать, что все происходящее с ним сейчас вовсе не сон никакой, но явь, которая бывает порой сродни сновидению с его невыносимо яркими, ядовитыми красками, пронзительными звуками и вполне внятными, даже чересчур внятными сюжетами.

– Ну как каких? – усмехнулся Куриный бог и развел руками, – да вот этих: мужчин в военной форме, женщин в длинных, доходящих им до самых пят пальто, стариков с абсолютно остекленевшими глазами и, соответственно, устремленными прямо перед собой слабоумными взглядами, детей, в неестественных позах замерших рядом то ли с новогодней елкой, то ли с огромным домашним растением, живущим в деревянной, обклеенной старыми газетами кадке.

Вожега огляделся по сторонам.

А ведь и правда – все они смотрели на него с каким-то отчуждением, раздражением и непониманием, почему это он оказался здесь, в этом доме, в этой комнате, почему валяется в их кровати, в которой они раньше любили поживать. Вдруг он в ней нагадит, испачкает только что стиранное белье, и тогда они все соберутся вместе и будут его мучить, истязать, перетягивать горло кухонным полотенцем, а может быть, даже и убьют.

Что еще?

Храпели, конечно, стонали во сне все эти Русалимы, что-то бормотали спросонья, а утром выбирались на кухню взлохмаченные, злые и жадно пили воду из-под крана, чтобы подавить икоту, пихались у рукомойника.

Куриный бог встал:

– Ладно, пойду, пора мне.

– Сергей Карпович, а я больше вас никогда не увижу?

Куриный бог замер на какое-то мгновение в дверях и, не оборачиваясь, проговорил:

– Думаю, что нет...

Ни шагов, ни треска разошедшихся половиц, ни скрипа деревянных поручней на лестнице – ничего этого не последовало после закрывания двери. Лишь полная тишина.

Вожега вышел в коридор.

Пусто. Лишь несколько перевернутых во время несения тела корыт так и остались лежать на полу, нестерпимо резко воняло хлоркой, а у рукомойника кто-то налил целую лужу, в которой плавали обрывки перекрученных в грязные жгуты бинтов.

После уроков подрались крепко, до крови и выданных с мясом карманов, до втоптаных в грязь вязаных шапок и сбитых кулаков. Случайные прохожие насилу растащили их, оглашенных, впихнули им в онемевшие от боли руки облепленные глиной портфели и отправили домой. И они брели молча, думая каждый о своем, не смотря друг на друга, не чувствуя друг друга, но лишь слушая однообразное шарканье по мостовой, хлюпанье носом да треск вылетающей из разбитого рта кровавой слюны.

А произошло все это потому, что Румянцев не поверил Вожеге, более того, обозвал его вруном и придурком, потому что мертвецы не могут говорить, у них заперты уста, а еще они не бродят по дому по утрам. Вот по ночам – это еще куда ни шло, а по утрам...

Нет, подобного не бывает!

Так доплелись до Замоскворецких бань, что располагались на углу Большого и Малого Строченовских переулков.

Каждые выходные в эти бани ходил мыться отец Румянцева.

Важничал, само собой, подолгу стоял в предбаннике и курил с мужиками. Потом, дождавшись, когда схлынет очередь, неспешно, даже как-то лениво подходил к окошечку, смешно отключивал и без того толстый зад, кряхтя, нагибался и заглядывал в полутемное помещение кассы.

– Что он там видел? – Румянцев прислонился к стене. – А черт его знает, что он там видел. Кассира, наверное...

Вожега улыбнулся, потому что у него уже был заготовлен ответ самому себе.

«В забранное сваренной из арматуры решеткой окно кассы видна небольшая, едва освещенная настольной керосиновой лампой комната. Из обстановки здесь только – стол, полупустой книжный шкаф, сваленные в углу дрова и печь, обмазанная глиной наполовину с цементом.

Здесь жарко натоплено.

В комнату входит высокая, тощая женщина в брезентовой путевой куртке, надетой поверх телогрейки, и вносит в комнату никелированный таз, наполненный яблоками. Ставит его на стол. Начинает перебирать яблоки, откладывая гнилые и мороженые на подоконник. При этом некоторые яблоки падают на пол, катаются по нему».

В этой тощей женщине Вожега узнает свою мать. По крайней мере, такой она ему представляется из сбивчивых, какие они вообще могут быть у глухого человека, рассказов Нины Колмыковой.

Приобретя входной билет, отец Румына проходил в гардероб, получал номерок, который тут же погружал во внутренний карман пиджака, проверял, все ли взял с собой. На всякий случай проверял. Вроде все!

И шел в раздевалку.

Тут самым главным было – найти свободный шкаф и разместиться рядом с ним, оцепенеть полностью, вдохнуть терпкий запах цементной сырости вперемешку с запахом кислого пива и нестираного белья. А по кафельному полу в хаотическом порядке тем временем перемещались осклизлые деревянные решетки, плавали в мыльной жиже, заваливались в выложенные цементом водостоки.

И вот Румянцев-старший начинал раздеваться.

Делал он это всякий раз с особым, чтобы не сказать чрезмерным, старанием. Снимал пиджак, и прежде чем он исчезнет в недрах шкафа-реликвария, непременно выворачивал его подкладкой наружу. Расшнуровывал ботинки, расставался с носками, шевелил пальцами на ногах, всматривался.

Особое, впрочем, неудовольствие ему традиционно доставляли кальсоны. Вся проблема тут заключалась в том, что кальсоны совершенно невозможно было упорядочить, придав изрядно вытянутым на коленях штанинам хоть какую-нибудь приемлемую стреловидность.

В результате же долгих и, увы, бессмысленных попыток хоть как-то приручить этот по сути никчемный ком штопаной-перештопаной ветоши отец Румянцева презрительно швырял кальсоны на самое дно шкафа, куда-то к ботинкам и задыхающимся в их войлочных недрах носкам.

Теперь неосвоенными оставались только майка на несоразмерно тощих бретельках и сатиновые трусы, доходившие отцу чуть ли не до колен.

– Откровенно говоря, то еще зрелище... Это ему мать у нас в универмаге покупает, – сплюнул Румын и принялся с остервенением оттирать от портфеля прилипшую к нему глину, – вот зараза.

Помывочная представляла собой выложенный позеленевшим от постоянной сырости кафелем зал с высоким сводчатым потолком, который, впрочем, не всегда был различим, потому как терялся в клубях густого клокастого пара.

Танец голых тел вдоль выкрашенных белой краской труб с горячей и холодной водой, скопление около медных кранов, процессия несения тазов с мыльным раствором, проступающий в банном тумане текст, составленный из десятков пороховых татуировок в самых неожиданных местах да кажение скрученными из суровья мочалами – все это входило в неперменный ритуал омовения.

Румянцев-старший откручивал кран с кипятком и принимался ногтями счищать с себя грязь.

Присохла зараза.

На улице зажгли фонари.

Протяжный паровозный гудок со стороны Павелецкого вокзала равномерно заполнил пространство улиц, переулков и проходных дворов.

Во время половодья Яуза равномерно заполняет все прилегающие низины. Во время одного из таких разливов и было уничтожено прибрежное кладбище.

То самое, где была погребена Книга.

Как сказано: «Сначала Книгу пеленали в пергамент и обмазывали сырой глиной, на которой собравшиеся на траурную церемонию по кругу оставляли отпечатки своих пальцев с ногтями – этими остатками рыбной чешуи. Затем, когда глина высыхала, получившийся куколь заливали смолой и в таком виде укладывали на украшенные старинной, весьма прихотливого плетения резьбой носилки и так несли по берегу Яузы до выкопанных в песчаном склоне пещер. Выбирали одну из них, предварительно достав из ее глубины бутылку охлажденного красного вина, которую тут же и выпивали за помин души усопшей Книги, потому что у каждой книги, как и у каждого человека, есть душа. Потом покойницу погружали в пещеру, заранее осветив ее масляными плашками, где и погребали, завалив вход огромным, ледникового происхождения валуном».

Сергея Карповича Турцева – Куриного бога – поминали всем баракон, всматривались в висящую на стене фотографию, на которой он был запечатлен в форме путевого обходчика, гладко выбритый, молодецкватый, улыбающийся. За спиной Куриного бога можно было разглядеть Рубеля, Луи, Роббера и Зиту, которые, совершенно непонятно как, очутились в кадре, корчили смешные рожи, кривлялись.

Теперь же Рубель, Луи, Роббер и Зиту сидели в самом конце стола, переговаривались вполголоса, вытирали рты.

Вожега вышел в коридор и, дождавшись, когда в дверях появится Зофья Сергеевна Кауфман, проделал следующее – указательным и средним пальцами правой руки оттопырил

нижние веки, а большим пальцем той же руки раскорячил нос так, что совершенно вывернул при этом все содержимое ноздрей-нор.

Кукиш вместо лица получился.

Однако на Зофью Сергеевну это не произвело ни малейшего впечатления. Более того, проходя мимо, она с вызовом посмотрела на столь старательно изуродовавшего себя Вожегу и проговорила: «Ты дурак? Тебе лечиться надо!»

А что значит лечиться? Принимать лекарства, терпеть боль и недомогание, выслушивать длинные и маловразумительные речи врача, пытаться объяснить, что же на самом деле болит, причем самому себе объяснить в первую очередь, и, наконец, прислушиваться к происходящему внутри, с удовольствием обнаруживая улучшение состояния. Хотя, откровенно говоря, всякий раз признаваться себе в том, что все изменения, как в лучшую, так и в худшую сторону, в высшей степени иллюзорны. Ведь тут важно понимать, что проживание того или иного отрезка времени и станет тем единственным мериллом здоровья, замешенного на страхах, на опасениях, на привыкании к этим самым страхам и опасениям.

Зофья Сергеевна прошла на кухню, сняла с плиты кастрюлю и понесла ее в комнату, где сидели гости. Проплыла мимо, еще раз обдав презрением, запахом варенного в луке мяса, затем открыла дверь ногой и с силой ее захлопнула ногой же.

Вожега остался в темноте один.

Летом ездили на Язу купаться. К тому времени строительство гранитных берегов шло полным ходом, и поэтому надо было знать места, где к воде можно было выбраться беспрепятственно. Отец Румянцева такие места знал. Например, сразу за бывшей церковью Сергея, что в Рогожской, к берегу меж покосившихся, наскоро сколоченных из горбыля заборов вел извилистый, местами даже с выкопанными ступенями, спуск. Всякий раз, когда Румын пробирался по нему, ему почему-то казалось, что за ним кто-то идет, кто-то его преследует. Румын останавливался и резко поворачивался назад. Нет, никого. Только исполинских размеров церковная колокольня ритмично раскачивалась в такт совершенно хаотически сменяющим друг друга изгибам деревянного лаза, как бы повторяла его невысказанное криволинейное движение, утыкалась густой пылающей по краям тенью в Язу.

А отец уже и прохаживался по кромке воды, улыбался, поводил плечами, как готовая пуститься в пляс скуластая баба-колхозница с плаката, висящего в школьной столовке.

Румын вспомнил – откуда это знание!

Именно из школьной столовки, именно...

Плакат висел ровно перед раздачей, и потому всматриваться в него приходилось всякий раз, когда стоял в очереди за тарелкой перловой каши, к которой прилагался кусок черного хлеба и стакан густого, как тавот, киселя.

Так вот, значит, баба и повела круглыми дебелими плечами.

Отец же сделал несколько вращательных движений руками, затем запечатлел их над головой и упал в воду. Поплыл-поплыл, выпуская изо рта мутные, красновато-глинистого оттенка фонтанчики, вероятно, и отплеывался по ходу дела, вероятно, и приговаривал: «Все равно говном воняет».

Румын не умел плавать, боялся глубины, черных водорослей, напоминавших ему оживших утопленников.

Он забирался в воду у самого берега, ложился на живот и начинал как можно быстрее перебирать ногами, наивно думая, что хоть таким, весьма и весьма примитивным, образом он заставит себя сдвинуться с места.

Нет и еще раз нет! Как последний идиот, Румын продолжал лежать в доверху наполненной донной взвесью луже, но при этом он смеялся, казался себе таким беззащитным, беспомощным, даже жалким в какой-то степени.

Ну и пусть! Ну и пусть!

А отец выходил из воды, растирался полотенцем и говорил с сожалением:

– Ну и что же ты, скажи мне на милость, здесь, в грязи, плещешься? Не стыдно?

«Стыдно, у кого видно», – огрызнулся про себя Румын.

Чтобы ничего не было видно, отец оборачивал полотенце вокруг пояса, подтыкал его, после чего стаскивал с себя мокрые трусы, в которых только что купался, и старательно отжимал их:

– Ладно, давай вылезай, а то все имущество себе застудишь.

И почему-то сразу становилось невыносимо грустно, тоскливо становилось, как это бывает поздней осенью, когда после уроков бредешь домой, совершенно не разбирая пути, зачем-то присаживаешься на мокрые, облепленные прелыми листьями скамейки поочередно, а штаны на заднице тут же и намокают.

По Яузе плыли ящики.

Отец бодрым шагом начинал восхождение на гору.

Румянцев догонял отца, и они шли вместе.

Возле полуразрушенных церковных ворот стоял человек в гимнастерке и курил.

Отец почему-то здоровался с ним, и человек отвечал ему кивком головы.

Однако за этим почти незаметным жестом ничего не стояло.

Совершенная пустота.

VI

Ангелы наконец покидают свои укрытия, приводят в порядок изрядно помявшиеся от длительного сидения в темноте крылья, переговариваются шепотом, накидывают на худые острые плечи все, что под руку попадет, – телогрейки, шинели, пропахшие соляжкой бушлаты мотористов или размахайки путевых обходчиков, и тихо, стараясь не шуметь, выходят на улицу, на утренний, пробирающий морозной сыростью воздух.

И уже здесь, на улице, совершенно напоминают рабочих из привокзальных мастерских, что возвращаются домой после ночной смены, минуют смотрящих на них в полнейшем изумлении дворников, потому как только дворников и можно встретить в Москве в этот ранний час.

Зоя миновала узкий, буквально раздавленный институтскими корпусами внутренний двор, открыла железную калитку и вышла на улицу, на утренний, пробирающий морозной свежестью воздух.

Это раньше после ночного дежурства она была еле жива, тошнило, кружилась голова, знобило, чувствовала смертельную усталость, и к себе на Щипок она добиралась в почти бессознательном состоянии. Даже думала уходить с этой дурацкой работы, но потом как-то привыкла, даже не заметила, как и когда это произошло, притерпелась, видимо, сочла невыносимое за желанное.

Великая сила привычки.

Великое внутреннее напряжение.

Великая боязнь, что все происходящее есть закономерный результат ошибок, гнева, заблуждений, своего рода наказание.

Страхи-страхи.

Страшные лохматые деревья сада Вогау наваливались на кирпичную, местами растрескавшуюся ограду, скрипели, шевелились под воздействием ветра, что поднимался с Садового кольца сюда, на Обуха, создавал турбулентность, как в аэродинамической трубе.

На Щипок Зоя со слепой матерью переехала с Автозаводской вскоре после смерти отца – Якова Андреевича Зерцалова, годах в шестидесятых. Тогда как раз расселяли заводские

общаги, и Зерцаловым повезло – им выделили отдельную комнату как семье погибшего на производстве.

Несчастный случай – отца убило лопнувшим стальным тросом при погрузке много-тонного контейнера.

После школы какое-то время Зоя работала уборщицей в бывшей Александровской больнице, потом заочно окончила медучилище, а тут как раз набирали младший медперсонал в Институт мозга на Обуха. Все сошлось – и недалеко вроде, и деньги какие-никакие платили, по крайней мере, была возможность содержать мать.

Захлопнула железную калитку и вышла на улицу.

Оглянулась: снаружи на калитке белой масляной краской было написано – «Прием анализов».

Удивительно, право, чего сюда только не несли – вареную картошку и сырые яйца, мертвых голубей и старые, туго перетянутые леской газеты, пропахшие карболкой бинты и детские формочки для песочницы, сухофрукты и керамические электрообогреватели, рулоны просроченной киноплёнки и древесные грибы-чаги, старые фотографические карточки и плетеные корзины, доверху набитые незрелыми яблоками. Одним словом, несли все, что считали возможным и необходимым сдать на анализы.

Одно время Зоя даже работала приемщицей всего этого хлама, делала аккуратные записи в книге учета, выписывала направления, поднимала глаза, еще раз поднимала глаза, а на нее в деревянный колодезный створ окна-люка пялились страдающие душевными расстройствами лопухие люди с круглыми головами. Конечно, бывало страшно, тем более что вообще вся эта местность – Воронцовы поля, сад Вогау и Яузский бульвар – издавна пользовалась дурной славой. От институтских стариков Зоя не раз слышала рассказы о пропавших людях, о говорящих на человеческом языке собаках, живущих в норах в саду, о бессмертной старухе Адели Романовне фон Вогау, что в свое время дружила с Бахрушиными, известными московскими собирателями черепов, и даже прятала одно время у себя в книжном шкафу череп, якобы принадлежавший Николаю Васильевичу Гоголю.

– Зоя Яковлевна, а Зоя Яковлевна, забыли гостинчики, – из «Приема анализов» выглянул тщедушного сложения дядя Саша-вохровец. – Как же это вы так, без гостинчиков-то? Никак нельзя. Давайте, давайте, забирайте – тут вот печеньеца имеются, мармеладик пластиковый к чаю.

Сели пить чай на кухне – Зоя, ее слепая мать, Нина Колмыкова и Зофья Сергеевна.

Вожега тут же и подумал, что при помощи столовой ложки можно намазывать мармелад на хлеб и есть таким образом, запивая огненным, только что закипевшим чаем. Что же касается до слов, то они, что, кстати, было вполне объяснимо, не имели ни малейшей возможности превозмочь этот пузырящийся поток, что, минуя обметанные бесконечной простудой губы, проваливался в вынужденное безмолвие.

Первой молчание нарушила Кауфман. Она отхлебнула кипятка, выпустила изо рта струю плотного, как медицинская марля, пара и сообщила, что впервые после смерти Куриного бога он ей приснился. Стало быть, вместе с этим паром и вырвался на свет Божий образ бородатого, грозного, с пронзительным взглядом старика, который сидел у окна, теребил пальцами угол занавески, настойчиво требовал крепкого чая и ругался ругательски, само собой.

А еще тер глаза.

– Папа, я вам сколько раз говорила, не надо тереть глаза, вон они уже у вас какие красные, могут сосуды полопаться.

Сергей Карпович порывисто поворачивался к дочери, какое-то время смотрел на нее с ненавистью, может быть, даже и считал про себя до десяти, потом медленно подносил

правую ладонь к правому же глазу, впивался в него указательным пальцем и начинал его расчесывать. Назло, назло ей – старой дуре.

– Папа, ну вы совсем сказались, – Зофья Сергеевна поводила плечами, – себе же хуже делаете.

– Нет, тебе! Тебе! – звучало в ответ.

– Ну и чем же вы мне хуже делаете? – сама не понимая, зачем вступает в этот бессмысленный разговор, произносила Кауфман.

– А тем, что, когда я ослепну, ты должна будешь лучше ко мне относиться!

Это звучало до такой степени добропобедно, что Куриный бог даже на какое-то мгновение отдирает ладонь от лица, являя дочери свекольного цвета глазницу, рассмотреть в которой собственно глаз уже не представлялось возможным.

– А я к вам, папа, плохо отношусь?

– Да, ты ко мне плохо относишься! Ужасно относишься! Откуда у меня борода взялась?

– Папа, вы не ослепнете, а если и ослепнете, то только на один правый глаз, который вы трете.

– Вот сука, а ты и рада! Давай, брей мне бороду! – Турцев падал на подушку лицом вниз и принимался тяжело, фистульно дышать сквозь щеки.

Щеки трепетали, как сохнувшее на ветру белье.

«Все белье зассал, старый идиот, надоел», – Зофья Сергеевна выходила из комнаты и с силой захлопывала за собой дверь.

Дверь как вариант смысловой отбивки, как возможность отделить сон от яви, безбытное от реального.

– Значит, получается, что даже и хорошо, что он умер, – подводила итог услышанному Зоя Зерцалова.

– Получается, что так... – Зофья Сергеевна решалась на этот вывод не сразу, но после некоторой паузы.

Считала про себя до десяти?

Выковыривала из зубов куски пластового мармелада?

Отстраненно изучала собственные ногти на левой руке?

Чувствовала некоторую внутреннюю тошноту и прислушалась к себе?

Или представляла Турцева в совершенно ином облики – был светел, молод, как когда-то, очень давно, когда выступал за футбольную команду завода Михельсона, когда напрягал крепкие узловатые мышцы на ногах и чувствовал толчкообразное движение крови внутри собственной головы, когда совершенно не боялся утреннего пронизывающего холода, когда на спор поднимал зубами с земли полный граненый стакан водки, одним духом выпивал его и выходил на поле. Попробовать мяч.

Уже в конце чаепития Зоя начинала рассказывать о пациентах института, о тех самых лопухих людях с круглыми, как футбольный мяч, головами.

– А что было с ними потом, уже после того, как они сдавали анализы и получали направления на прохождение того или иного исследования?

– По-всякому бывало. Кого выписывали. Кого оставляли в стационаре. А вот, например, Приоров Василий Пантелеймонович – герой Гражданской войны, комдив, орденносец. В тридцать седьмом по ложному обвинению он был арестован, но вскоре освобожден, служил в Забайкальском военном округе, там заболел и был направлен к нам. И что вы думаете? Бежал.

– Как бежал?

– Да вот так и бежал. Напоил нашего дядю Сашу-вохровца, много ли ему надо, и был таков!

– Сразу видно, героический человек, – со значением проговорила Зерцалова-старшая и принялась перемешивать ложкой несуществующий чай.

– Да уж, героический! Поймали его скоро. На глупости попался.

– Не может быть.

– Еще как может. Значит, этот мудака где-то нашел голову или сам ее отрезал, он нам рассказывал, что они там, в Забайкалье, вытворяли, душегубы, и принялся ее варить на кухне.

– Что варить?

– Да голову, голову!

– А зачем? – Зофья Сергеевна даже подалась от стола от неожиданности.

– Вроде ему буряты что-то там про это дело напели, у них, мол, это в порядке вещей, потому как в человеческом черепе особая сила хранится. Ну, вот он и стал голову вываривать, чтобы до черепа добраться.

– Меня сейчас стошнит...

– А дальше что было?

– Вот варит он себе и варит, дело-то долгое, ну и покурить на лестницу отошел, а тут, как назло, соседка какая-то по коммуналке на кухню забрела и увидела все это дело.

– Точно подмечено, они везде бродят, везде нос свой длинный суют.

– Ясное дело, в обморок рухнула, потом другие соседи прибежали. Милицию вызвали.

– Слава тебе богу!

– Арестовали нашего комдива.

– Да-а, сразу видно, героический человек был.

– У вас, мама, все люди героические, давайте я вам лучше еще чаю налью, чего вы там все мешаете, нет уже ничего.

– Сколько дали-то?

– Кому?

– Комдиву, не голове же.

– Рассказывали, что, когда его арестовывали, обыск проводили, допрашивали там свидетелей, эта чертова голова все продолжала вариться. Не знаю, сколько ему дали. Его в Институт Сербского потом забрали, там он, видно, и умер. Отправился в царствие мертвых.

– Страшно.

– Да не страшно, а глупо. Чего тут страшного-то.

Действительно, Вожеге почему-то совсем не было страшно, когда он слушал этот рассказ Зои.

Абсолютно не было страшно.

Итак, Куриный бог отправился в царствие мертвых. Для начала по Щипку дошел до Жукова проезда, где был приусадебный пруд.

Потом его засыпали, когда строили дорогу до Павелецкой-товарной.

Постоял на перекрестке, дождался трамвая, что как-то кособоко, обморочно дрожа на стыках, прополз в сторону Даниловского рынка, пропустил его.

Куда дальше? Не может же царствие мертвых располагаться так близко от того места, где прожил почти всю свою жизнь! Тем более что раньше довольно часто бывал в этих краях, но никаких признаков этого самого царствия никогда не замечал. Все больше бессмысленной архитектуры склады, пристанционные мастерские, гаражи да кирпичные покосившиеся заборы попадались. Как-то все очень глупо получалось, не спрашивать же в конце концов у редких прохожих, как поступать в подобного рода весьма и весьма щекотливой ситуации.

Глупо, невыносимо глупо!

И что же могло быть результатом этой глупости? Скорее всего, в высшей степени бессмысленная, неуместная и какая-то кривая, как приключается в таких случаях, улыбка.

Улыбка – это когда губы начинают расплываться в разные стороны, вытягиваться, теснить щеки, полностью выворачивая при этом ближайшее содержимое рта – зубы, язык да сводчатый потолок нёба.

А может быть, попробовать вернуться, пока не поздно? Опять войти в свою комнату, лечь на кровать, отвернувшись лицом к стене, постараться уснуть?

– Папа, какого черта, что вы тут делаете, вы же умерли, а теперь вот опять приперлись! Зачем? Чтобы меня изводить, что ли?

Куриный бог стоял рядом с трамвайными путями и улыбался:

– Да шутка это, розыгрыш! Никуда я не вернулся. Ведь у меня же бессонница. А ты уже и забыла?

И уже много позже рассказывали, что видели на берегу еще не засыпанного тогда Жукова приусадебного пруда какого-то странного улыбающегося старика.

Куриный бог подошел к самой воде и начал раздеваться.

Расшнуровал ботинки, расстегнул штаны, снял пальто, спустил кальсоны, выпустил изо рта слюну, но тут же втянул ее обратно, на глазах выступили слезы.

Посмотрел по сторонам – нет никого.

И тут же увидел себя со стороны таким беспомощным, слабоумным, не способным даже донести до рта чашку с горячим, крепко заваренным чаем, в котором плавает лимон, что придвигается к краям чашки, уходит в глубину, затем вновь всплывает, пузырится, источает такой пьянящий аромат, что от него можно с ума сойти.

Зашел в ледяную воду.

Трудно понять, что это было за состояние такое, когда огонь входит в тебя, но не сжигает все твои внутренности, чего, впрочем, ждешь, так как это неотвратимо и даже естественно, но лишь разогревает их до приятного жара. А еще заставляет сердце биться все сильнее и сильнее, наводя при этом страх, что еще совсем немного, и оно остановится, не выдержит бешеного ускорения, ритма.

Куриный бог почему-то вспомнил в эту минуту, как однажды, это было лет пятьдесят назад, когда он выдергивал скатерть с сервированного на двадцать персон стола, на него опрокинулся только что закипевший самовар.

Улыбнулся сам себе – как же это интересно, однако, извлекать откуда-то из глубины, с самого дна, старинные, даже ветхие ощущения и прикладывать их к совершенно новым и неизведанным состояниям. Тогда самовар с грохотом повалился на пол, принялся кататься из угла в угол и извергать из себя струи густого, слоистого пара. Могло даже показаться, что с ним приключился припадок, как с душевнобольным.

«Душевнобольной самовар, царствие мертвых», – Куриный бог усмехнулся в конце своей жизни.

VII

В конце своей жизни святой апостол Петр написал два послания к уверовавшим иудеям, рассеянным вне Палестины.

Первое послание, как известно, состоит из пяти глав и написано в 65 году в Вавилоне.

Второе же послание написано св. Петром в Риме незадолго до его мученической кончины. Апостол умоляет верующих быть твердыми и неуклонными в вере, остерегаться лжеучений и не почитать обетований Божественных несбыточными из-за того, что еще не наступил последний день мира сего, ибо смиренномудрые и долготерпеливые стяжают Царствие Небесное.

Последний день недели – воскресенье. Стало быть, в конце каждой недели возникает возможность полностью уподобиться Спасителю и собственной смертью попрасть смерть,

даруя при этом жизнь всем здравствующим. Конечно, на первый взгляд все это выглядит совершенно неправдоподобно, дико и более напоминает бредовые измышления полностью отчаявшегося в Божественной благодати, стоящего на коленях слабоумного грешника. Почему на коленях? Да потому, что уже нет никаких сил превозмогать лишения, одиночество, смертельную усталость, нищету и болезни как-то иначе.

Однако если попытаться вдуматься в неотвратимость седьмого дня, то получается, что единственным источником сомнений и недоверия являются исключительно собственные слабость и страхи, а никакие не внешние события, злоключения или люди, что проходят мимо тебя, заглядывают в твое лицо, недоумевают. Вероятно, они и были бы рады помочь тебе разного рода благодеяниями, праведными поступками, речами, но, увы, не могут, совершенно не могут это сделать, ибо не ведают истинной причины твоего недомогания.

Душевного, само собой...

Конечно, ты можешь тут же смело, вариант, дерзко возразить и привести в пример врача, что долго и настойчиво допрашивает своего пациента, дотрагивается до него, даже специально причиняет ему боль, чтобы понять, что же именно требует лечения. Да, это так! Истинно так!

Но тут, как думается, совершенно иная ситуация, ибо не всяк врач страждущему своему, не всяк способен найти в себе умение или даже талант к уничижению перед тем, кто порой гордо отвергает протянутую ему руку помощи.

Итак, право последнего выбора, окончательного решения остается только за тобой и ни за кем более!

Хорошо, предположим, что ты сам изложил пред собой истинные причины твоих нестроений. Причем сделал это в высшей степени искренне, правдиво, вероятно, даже истово, потому что таиться от самого себя, пытаться обмануть самого себя, объясняя это несвоевременностью подобного поступка, в высшей степени глупо. Просто глупо! Ты говоришь себе, что должно пройти некое время, должны улечься страхи, боли, жуткие видения, Бог знает что еще. Ты ждешь. Точнее сказать, ты делаешь вид, что ждешь, но ничего, абсолютно ничего не происходит...

А люди проходят мимо тебя, заглядывают в твое лицо, недоумевают. Некоторые даже и смеются, но не над тобой, а просто каким-то своим мыслям, ведь не все же, в конце концов, обязаны страдать именно сейчас, именно в эту минуту. Но ты, затаившись, ошибочно думаешь, что предметом их улыбок, а в твоей трактовке – глумления, являются твои боль и страдание. Ты винишь их в непонимании и жестокосердии. И ошибаешься. Жестоко ошибаешься, потому как жестокосерден к самому себе!

При другом развитии ситуации ты понимаешь, что именно тебя гнетет, и улыбаешься этому знанию, а стало быть, улыбаешься и проходящим мимо тебя людям. Просто так получается своего рода совпадение мимики, артикуляции и внешнего проявления эмоций.

Как было тогда, когда возле полуразрушенных церковных ворот, что на Язуе, стоял человек в гимнастерке и курил, а отец Румына почему-то поздоровался с ним, и человек ответил ему кивком головы, слабо улыбнувшись при этом.

Однако за этим почти незаметным жестом ничего не стояло – никаких взаимных душевных движений, никаких переживаний или воспоминаний.

Ничего – обычное совпадение, совершенная пустота.

Так часто бывает...

Румын тогда оглянулся и тоже зачем-то улыбнулся мужику в гимнастерке.

На Щипок пришли, когда уже начало смеркаться.

Отец прошел в дом, и уже откуда-то из глубины барака донеслось:

– Может, пора уже?

– Не-а, – Румянцев сел на скамейку и стал болтать ногами.

Так и сидел, тряся всем телом, цепенел, впадал в забытие, пока вдруг не услышал откуда-то сверху:

– Румын, а Румын, ты чео – дурак? – Вожега высунулся из окна почти целиком, кривлялся и вертел указательным пальцем у виска.

– Выйдешь, убью! – проговорил Румын в ответ скорее механически, не придавая словам какого-то особого смысла, но тут же и очнулся, вышел из внутренней неподвижности, встал и поплелся домой.

И это уже потом, проходя мимо двери с криво нарисованной на ней белой краской цифрой 14, размахнулся и со всей силой ударил в нее кулаком.

Убил, стало быть.

А Вожега так и остался стоять у окна, даже не повернулся к двери, хотя мог спрятаться за шкаф или под кровать, но не сделал этого.

Интересное совпадение: апостол Петр заранее узнал, что будет подвержен мучительной казни на кресте, ученики упрашивали его спастись бегством, благо такая возможность предоставилась, но Петр отказался, сославшись на то, что Сам Спаситель заповедал ему совершить восхождение на крест.

И спустя годы с высоты второго этажа можно было разглядеть большой, прямоугольный в плане двор, с одной стороны упирившийся в какие-то покосившиеся деревянные постройки и целую гору лысых автомобильных покрышек, а с двух других огороженный забором, прибитым прямо к деревьям.

А еще у самого подъезда стояла скамейка, на которую Зофья Сергеевна всякий раз демонстративно ложилась, видимо, воображала себе, что лежит таким образом в тесном гробу.

Притворялась, конечно, старая дура!

Лежала неподвижно, боясь свалиться на землю, скрещивала руки на груди, следила за дыханием, считала до ста и еще раз до ста, пока не задремывала и не начинала похрапывать, как бы перекатывая внутри собственной гортани мелкие, обточенные прерывистым дыханием-прибоем камешки.

Грохот катающейся под кроватью гантели.

Грохот булыжников, перетаскиваемых подводным течением.

Грохот шагов в коридоре.

Грохот стальных колес на рельсовых стыках.

Вожега оглянулся, а со стен на него смотрели фотографии каких-то людей – мужчин в военной форме, женщин в длинных, доходивших им до самых пят пальто, стариков с абсолютно остекленевшими глазами и, соответственно, устремленными прямо перед собой слабоумными взглядами, детей, в неестественных позах замерших рядом то ли с новогодней елкой, то ли с огромным домашним растением, живущим в деревянной, обклеенной старыми газетами кадке.

Приоткрыл дверь и выглянул в коридор, как в железнодорожный тоннель, по которому вот-вот должен пройти маневровый мотовоз.

Грохот проходящего по мосту поезда.

Проникающий внутрь головы вой зуммера при открывании шлагбаума-гильотины.

Подождал еще какое-то время – нет, никакого мотовоза не предвиделось, действительно, откуда ему тут было взяться? И лишь лающий кашель деда Миши Тракториста из одиннадцатой квартиры да смех Рубеля и Роббера с первого этажа.

Значит, можно идти!

Хорошо!

А что еще можно?

Можно отдирать вату, что клоками свисает из распоротых животов дверей, обитых дерматином, можно пробираться вдоль фронта пахнущих лежалым бельем шкафов, стоящих по длине стен, наконец, можно пожелать спуститься по лестнице на первый этаж, даже ухватиться при этом за вытертые до зеркального блеска перила, как за могильную ограду, и перевернуться вниз, но вдруг оглянуться на звук работающего телевизора и заметить, что дверь в квартиру Кауфман приоткрыта.

Вольфрам Авиэзерович Кауфман работал сварщиком могильных оград на Ваганьковском кладбище. С работы всякий раз приходил злой и усталый, с порога требовал налить ему сто грамм водки, долго мылся под рукомойником, кряхтел, брызгался, наливал на полу целую лужу, но никогда за собой не вытирал, потом требовал еще сто грамм водки, не закусывал и вроде как успокаивался.

Дыхание становилось ровным, покойным, а стало быть, дозволительно повесить мокрое полотенце на спинку стула, сесть за стол, потребовать ужин и включить телевизор погромче, чтобы не слышать, как из коридора доносится истошное: «Опять Вольфрамыч все засрал, скотина!»

Во рту кусок жареной курицы.

В руке вилка.

В ушах волосы.

В кастрюле картошка.

В телевизоре футбол и голос комментатора Николая Николаевича Озерова.

Провода перекручены вокруг шеи и проваливаются за воротник, микрофон напоминает гладко выбритый подбородок, забранный в мелко сечения металлическую сетку, прикосновение к которой оставляет на губах кисловатый привкус. Николай Николаевич облизывает губы, но вдруг цепенеет на какое-то мгновение, зрачки его расширяются, темнеют, и откуда-то из самой глубины, где теряются радиопровода, все сокрушая на своем пути, вырывается иступленное – «О-о-о-о-о-л!!!».

Честно говоря, Вольфрам Авиэзерович так и не понял, как это произошло.

Он вдруг захрипел, как будто бы его убило током из синего щелкающего ящика, что устроен по правую руку от водителя троллейбуса, задрожал всем телом, покрылся испариной и умер.

То есть подавился куриной костью как раз накануне московской Олимпиады.

Всякий раз вспоминая тот день, Зофья Сергеевна повторяла: «В то лето многие умерли – Джо Дассен, Высоцкий...», будто это что-то решало или могло изменить.

Ничего это не могло изменить. Это должно было произойти.

Вожега приоткрыл дверь и тут же уперся взглядом в затылок Зофьи Сергеевны, которая ужинала и смотрела телевизор. Просто пялилась в экран, совершенно не понимая при этом, что именно вилка, зажатая узловатыми венозными пальцами, найдет на тарелке и донесет до открытого рта.

Было бы невыносимо смешно наблюдать, как ожившая вилка сама совершает путешествие по столу, находит на нем разрозненные остатки пищи, накалывает их на себя, доставляет к открытому вентиляционному колодцу и все запикивает внутрь. Утрамбовывает со старанием и еще раз запикивает, потому как запикинуть сразу все не получилось.

Зофья Сергеевна начнет при этом, разумеется, давиться, кашлять, но не отступит, не откажется от угощения, каким бы невыносимым и несвоевременным оно ни было. Уж она-то хорошо помнила слова Куриного бога: «Всегда наедайся впрок, потому что, когда наступит голод, пожалеешь, что отказалась от еды!»

Вот Зофья Сергеевна и начинала давиться, кашлять, но смеялась при этом, потому что по телевизору как назло шла какая-то юмористическая передача, и не смеяться не было никакой возможности.

Стараясь не шуметь, впрочем, в этом оглушительном хаосе звуков сделать это было совсем нетрудно, Вожега прошел на кухню.

Остановился в нерешительности, смятении, оцепенении, полубморочном состоянии, был при этом всеконечно побиваем раскатами хохота и кашля из соседней комнаты, даже чувствовал физическую боль от этих сокрушительных ударов, пытался защититься от них, но нет, тщетно!

Здесь.

Тогда здесь и взял с плиты короткую, специально сооруженную кочергу, ощутил ее вес, крепко сжал в кулаке, отпечатав на коже косо сечение арматуры, зачем-то потрогал лежавший тут же рядом кирпич – поди ж ты, еще теплый, собака!

Вожеге показалось, лохматая остромордая собака зло смотрит на него – вся в клоках вонючей свалявшейся шерсти. В струпьях.

– Чео уставилась, сволочь? – замахнулся на нее кочергой. – Пошла отсюда!

Смех и кашель тут же внезапно стихли, а телевизионные звуки превратились в невообразимый радийный треск, который случается, если кто-то по неосторожности выдергивает телевизионную антенну из гнезда.

И это уже потом выяснилось, что такое сравнение оказалось в высшей степени ошибочным, потому что с каждым ударом кочерги по голове, а бил Вожега только по голове, звуки становились все более и более нечленораздельными, однообразными и монотонными. Более того, юмористическая передача по телевизору продолжалась, никто ее не выключал, не отменял, и когда все было кончено, Вожега сел к столу и досмотрел ее до конца.

Экран погас.

А все-таки напугал эту толстожопую дуру до смерти!

Щелкнул выключатель.

Вместо лица только один, пылающий шестидесятиваттной без абажура лампой блин. Огненный, пузырящийся маслом блин на сковородке.

Блин лица.

Блин включенной настольной лампы.

– Ну и что же ты знаешь про смерть, идиот? – Следователь, толстая низкорослая тетка в форменной пилотке, пришпиленной к крашеным, как будто накрахмаленным буклям двумя заколками, встала из-за стола, повела подбородком так, как это всякий раз делают боксеры, разминая шейные мышцы, заложила руки за спину. – А?

И что, спрашивается, Вожега мог ответить ей?

Разве знал он, что смерть может наступить от внезапной остановки дыхания во сне – апноэ, от отравления ядовитыми грибами, от гнойного воспаления нутра, от тяжелейших желудочных спазмов и конвульсий. Также кончина могла произойти и от механических повреждений – переломов, разрывов, – абсолютно несовместимых с жизнью, от болевого шока могла наступить.

Впрочем, о последнем он, разумеется, догадывался, потому что хорошо запомнил, как еще в интернате здоровенный, придурковатого вида второгодник по прозвищу Муксалма шваброй насмерть забил огромную беременную крысу, что обитала на задах столовки. Крыса извивалась, хрипела, пыталась спастись бегством, и ей это уже почти удалось, но Муксалма все-таки настиг ее, придавил кирзовым башмаком к полу и с победным видом довершил свое дело.

Тетка подошла к Вожеге совсем близко, наклонилась и резко проорала ему в самое лицо:

– А знаешь ли ты, что тебе будет за это?

– Нет, не знаю...

– Тебя расстреляют, к чертям собачьим!!!

– Как это?

Тут же и рассмеялась в ответ, затряслась от полнейшего удовольствия:

– Как-как, из ружья! И нечего плакать, раньше надо было думать!

«И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святой и истинный, не судишь, не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были каждому из них одежды белые...»

Петр Русалим перевесился через подоконник окна второго этажа и посмотрел во двор – пусто, только белье сушится на ветру.

А Рубель, Луи, Роббер и Зиту как же?

Они по-прежнему поют длинные, заунывные гимны на латыни, по-прежнему ходят босиком, даже зимой, поздней осенью или ранней весной, расчесывают костяными, украшенными перламутровыми вставками гребнями длинные волосы, которые потом перевязывают красными шелковыми лентами, обладают крыльями, разумеется.

Значит, они ангелы?

Значит, ничего не изменилось?

Э-эх!

«Эх, Вожега, Вожега, зарезал нас, скотина, без ножика! А теперь не обессудь, брат!» – Красноармеец передернул затвор винтовки и выстрелил, почти не целясь.

Вспышка.

Калугадва

Повесть

Посвящается отцу

1. Комната

Женя проснулся оттого, что ему показалось – кто-то гладит его по лицу. Наверное, мама. Открыл глаза, но в комнате никого не было.

За стеной гости пели пьяными голосами. Выцветшими голосами. Старухи выли. Они не прекращали выть с тех пор, как вернулись с кладбища, – сначала от голода, потом от обиды, а теперь у них пучило животы.

Женя вышел в коридор – тут было темно, на ящике у двери спал отец Мелхиседек Павлов, его еще называли просто – отец Павлов, как отец Павел-Савл. Он развалил обросшие глиной гигантские кирзовые сапоги, ведь старательно же отслужил погребальный чин, совершенно вымок под дождем, замерз и проголодался изрядно – вот его теперь и сморило.

Гроб неровно вынесли из церкви и понесли через поле к погосту, ноги увязали в грязи, ветер раскачивал деревья, собаки дрались.

Женя наклонился, и поцеловал руку отцу Павлову, и погладил его по лицу, спящего, тот задергал головой, зарычал, но не проснулся, а вскоре так и вообще оказался на полу, подоткнув под себя лыжную палку, – столь умаялся за день, сколь смог. По долгу службы.

Дверь из зала открылась, мелькнула часть стола, гости. У окна сидела Фамарь в черной косынке. Женечка всегда знал старуху одинаково старой, поджимающей губы, и они у нее белели оттого. Рядом с ней сидел дед. Вернее сказать, истукан онемевшего деда, что не выпускал из рук мокрого полотенца, – интересно, однако, какое же у него было нынче сморщенное лицо, делавшее его похожим на больного плаксивого ребенка. Сидели еще какие-то родственники, древние подруги Фамари Никитичны, приживалки, затравленно озираясь по сторонам, ковырялись в салате из вареной свеклы и репы.

Женя присел на ведро, ведь все они тоже сидели в раме дверной коробки, сидели под портретом Лиды, перевязанным черной газовой лентой для волос.

В коридор вышел Серега, икнул.

– Вишь, как, малец-то, получилось, приказала мамка долго... – Его шатало.

Держась за стену, Серега добрался до туалета, потом вышел, дверь захлопнулась, перестав освещать Женю, отрезав тени.

Опять стало темно.

Женя на ощупь пробрался к комнате матери. Зашел. Тут вкусно пахло сырой затхлостью, обои вздулись и трещали, когда протапливали печь, зеркало задернуто сукном, а иначе и быть не могло, потому как лампу с налетом извести и клея вывернули, провода перемещались в поле стены, вдоль двери перемещались, а на потолке свет уличных фонарей рисовал ветки, раскачиваемые ветром. Женя подумал: осень, ежедневный дождь, волглые листья залепливают окно, жесть с крыши сарая улетела, скоро снег.

Теперь голоса звучали где-то очень далеко, и, может быть, впервые в доме сделалось тихо, и можно было спокойно смотреть туда, где существовала аллея, скамейки, зеленый дощатый забор без щелей, скелет кровати – пружинами в темноту, без полосатого, пахнущего мочой тюфяка, перепаханная кривая дорога, тянущаяся к краю леса, часть поля и рыжие песочные горы на глиняных разработках, обозреваемые по касательной к плоскости пыль-

ного, покрытого мушиными трупами подоконника. А еще дальше – на огороде – огромная ржавая бочка из-под топлива, в которой обмывали мышей, раздавленных железной рамой на пружине.

Женя подошел к подоконнику, воображая его почти настоящим кладбищем, на котором и похоронили его мать. Ну, разумеется, разумеется, игрушечным – кресты из спичек, ограды из клееных коробков, свежая земля (из горшков для домашних растений), размятая пальцем, и резиновые трубы-кишки, из которых на кафельные столы льется вода. Старые маленькие старательные девочки погребали тут своих любимых голеньких куколок – целлулоидных, целомудренных, – обряжали их в дырявые войлочные подстилки и... в добрый путь!

Потом Женечка прилег на мамину кровать и вспомнил, как в конце лета ему приснился страшный сон и он, в слезах, прибежал сюда и лег рядом с мамой, а панцирная сетка – продавленная – свалила их в кучу. Стало жарко, но он уснул, улыбаясь.

Женя стал раскачиваться на кровати, ведь теперь это можно было делать совершенно безнаказанно и не бояться старых, расслоившихся пружин, что прорвут блин тьюфяка и вопьются в бока и попу... По крайней мере именно так ему всегда говорила мама: «Смотри, будешь раскачиваться на кровати, пружины вопьются тебе в бока и попу!»

Весело.

Кажется, еще утром Женечка сидел на лестнице, на старых деревянных ступенях, на мохнатых холмах, оставленных заколачивающими шаги-гвозди сапогами, тут же в матового стекла колпаке была лампа-дежурка. Бабка суетилась, скоро должны были привезти гроб из морга или даже уже везли его.

За забором у Золотаревых завывла собака: сначала она скреблась когтями в заколоченную калитку черного хода на огород, потом, исходя слюной, пыталась ухватить зубами собственный ошейник – столь идиотское занятие, – вертелась, приседала, облепила толстый, как труба, хвост куриным пометом.

И завывла, как почувствовала.

Во двор въехал грузовик, стал разворачиваться, сдавая задом к крыльцу. Свора каких-то родственников, теток, паломников, татар, газокальильных ламп, керосиновых ламп, стариков-канониров из инвалидной роты в медвежьих шапках, маньчжурцев, дребезжащих на сквозняке старух, клеенчатых, залитых кровью фартуков, разносчиков кипятка, горюнов и землекопов облепила высокие борта, колеса и кабину. Жене показалось, что многие уже были пьяны. Они приглашали водилу зайти обогреться – начал накрапывать дождь, обещали угощение и выпивку. Даже дед что-то бесшумно вещал, перемешивая ватой губ в беззубой дырке рта.

Соседские мужики уже сидели в кузове и с уважением шупали черный ситец, которым был оббит гроб, тихонько переговаривались, потом закурили.

Фамарь Никитична держала Женю за руку. Вдруг водила, его, кажется, звали Голованом, заблажил дурным ржавым голосом кирного дебила:

– Ну, чео-о, блядь, стали? Давай выгружай ее! Мне еще на лесопункт конец делать!

Женя вздрогнул. Как по команде бабки завывли, морща свои и без того маленькие лица, глазки копеечкой, куриные шеи, а мужики, покидав окурки, поволокли тяжесть по доскам кузова, перегружая гроб на подставленные для того плечи.

А потом был весь следующий день, расцвеченный жидким глиняным редколесьем поздней осени. Туман двигался вместе с низким небом. Пахло ледяным зубным настоем заиндевших лежалых листьев.

Женя вышел со двора. Улица была завалена дровами, привезенными по случаю на лесовозе. Где-то за забором ревела бензопила, черной трухлявой корягой упиралась в небо вымоченная колокольня на Филиале, у соседей гудела паяльная лампа, тянуло бензином и воню-

чей щетиной – палили борова. В длинной дренажной канаве дрожал пуховый студень – здесь жили толстозадые прожорливые утки со своими костяными глотками.

Женя спустился к карьере. У самой воды, на врытой в землю бочке сидел Леха Золотарев, трава была вытоптана совершенно.

Женечка представил себе, что на дебаркадере толпились люди и некто, столь малоразличимый из них, уронил в глубину мутной цементной воды суповой половник. Половник блеснул своим фальшивым серебром и исчез, зарылся в ил, а ведь его вполне можно было бы приспособить к ловле слизней в луже у водоразборной колонки или выкапыванию червей.

Леха ковырял матового цвета болячку на губе.

– Помочь? – усмехнулся Женя.

– Не-е, я сам, мне дома мать не разрешает ковырять, говорит, будет заражение крови – и все, помрешь... – Леха косил глаза, оттягивал губу, морщился.

– Паром ждешь?

– Ну! – Леха кивнул. – Тебе собака не нужна?

– Не-а, не нужна. – Женя отвернулся.

– Жаль, а то мать говорит – пусти ты ее в лесу или утопи где, старая, скотина, стала, воеет, блажит, житья от нее нет.

Вообще-то тут все действительно ждали паррома, чтобы переправиться на тот берег, ведь многие из стоявших на дебаркадере работали в мастерских, ждали эту ржавую лоханку, в каких, как правило, с полей вывозят навозные кучи, реже – глину. По дренажным путям.

– Говорят, к тебе отец приехал?

Женя вздрогнул.

– Злой, что ли?

– Не знаю, я с ним еще не разговаривал, он на похороны опоздал...

– А может, он даже и добрый? – Леха пожал плечами, в том смысле что он и сам сомневается.

– ...а ты ее отрави!

– Кого отравить?

– Ну собаку свою и отрави, если старая стала, сам же говорил.

Леха уставился на Женю:

– Да жалко вроде.

– А утопить не жалко? – Женя усмехнулся. – Привязать к ошейнику камень и закинуть подальше в карьер, пускай поплавает. А она еще будет кричать: «Леша, Леша, спаси меня и сохрани!» Это так бабка моя говорит: «Спаси и сохрани». А потом и захлебнется, в общем, все как положено...

В водяных кустах запутались цветные пятна нефти, пошли волны. Кряхтя и отплеывая кипяток, к дебаркадере подвалил паром, нарисовав в глазах лебедку, троса, длинные вытертые поручни, треснутое и заклеенное газетой стекло рубки. Кинули трап. На берег вышли приехавшие из мастерских и кирпичного завода. Кочегар делал неприличные жесты контролеру. Все вышли и стали подниматься на холм к поселку.

Женя встал.

– Ладно, пошли на Филиал костер жечь.

Леха обернулся.

– Можно вообще-то. Удобрением, например. Оно у нас на чердаке припасено, а матери скажу, что костью поперхнулась.

– Зачем это?

– Как это зачем? Удобрения нигде нет, а нам еще гряды присыпать.

– Ну присыпай тогда.

Леха продолжал сидеть у воды.

– Ты идешь?

Такой толстый ушастый воротник пальто, спина зашита в нескольких местах, какие-то узоры шитья и прилипшая глина. Резиновые сапоги выглядывают из норы, откуда пахнет горячей капустой, извалянной в каше. Шапки почти не разобрать, ведь она хоронится. Может быть, шерстяная.

Скользко. Здесь мелководье.

Женя подошел и толкнул пальто в воду. Оно мгновенно набухло и превратилось в колокол.

– Ты чео-о, Жень, одурел совсем? – заорал Золотарев. – Давай вытаскивай меня, чео-о устался?!

Потом допоздна жгли на Филиале костер и сушили одежду.

Ночью Женя проснулся оттого, что ему показалось, что кто-то гладит его по лицу, наверное, мама. Открыл глаза, но в комнате никого не было.

Были только слова отца Мелхиседека: «О славию тебя, жена, что подвизаешься здесь в куцах непроходимых, вознесенных трезвением и страстей строительством, столь влекущими твою натуру – тоскующую, одинокую, романтическую, а порой и одноглазую...» Фамарь Никитична одобрительно кивала головой. Вдруг все переглянулись и улыбнулись. Во славу Божию. Во славу Божию.

Гости засмеялись: смотри, смотри – приехал-таки.

– Что же ты опоздал, братан? – Серега приподнялся из-за стола.

Женя хорошо услышал этот вопрос и сел на кровати.

Кто приехал? Кто опоздал?

В комнате стало совершенно тихо, скорее непроницаемо для посторонних звуков – потолка было уже не различить, он растворился в вышине. Столь было странно и одновременно обыденно в этой сырой мгле вдруг услышать гудящий печной чугунной заслонкой голос бабки: «Женя, иди поздоровайся с отцом».

Потом Серегу поволокли из-за стола, он что-то кричал, выволокли на кухню, засунули в мойку головой и пустили воду.

Гости запели. Женя вышел в коридор: дед спал на скамейке у двери, Фамарь Никитична скрежетала зубами во сне. В зале.

Спустился по лестнице и вышел на улицу.

Женя подумал о том, что хорошо бы завтра пойти на карьер и посмотреть, как приходит паром, привозит работающих в мастерских и на цементном заводе. С собой на карьер можно взять и Леху Золотарева, а потом пойти на Филиал и пожечь костер.

Теперь с карьера доносился лай собак, ветер отсутствовал. Крыльцо, деревянная приступка, скользкие поручни и дорожка к воротам еще хранили воспоминания о Лиде разбро- санными и уже почти ободранными еловыми ветками.

Через огород Женя пробрался к сараю – у входа горел свет.

Раньше здесь дед, как он говорил, «баловался с инструментом», потом сарай забросили, потекла крыша – жесьть улетела, окно заткнули мешком из-под удобрения, пол погнил. Вообще-то малоприятная местность, какая-то безлюдная, глухая и чрезмерно сырая. Теперь же, по бабкиному хотению – «Не пущу ирода в дочкину комнату, пусть, как пес, в сарае ночует», – здесь должен был спать отец – «Не пущу ирода в дочкину комнату, пусть, как пес, в сарае ночует, как живет, так пусть и ночует – под забором!».

И уже после этого разжились низкими скрипучими козлами, когда гроб стащили с грузовика, его поставили на эти низкие козлы, к земле расположив его тем самым, но исходил снизу холод, и даже лом не втыкался в смерзшийся песок, звенел, дудел, а еще разжились туюфяком, набитым соломой, дед приволок из кладовки старое одеяло.

Женя открыл дверь – тут было как в комнате: вкусно пахло сытой затхлостью, обои вздулись и трещали, когда протапливали печь, но ее никогда не топили здесь по причине ее отсутствия, зеркало, задернутое сукном, а иначе и быть не могло, ведь лампу с налетом извести и клея вывернули, полоска света с улицы проехала по отошедшим от пола и загнутым плинтусам, выхватила стол, обшитый картоном, – гвозди, скобы, проволока, висящее на ней чучело собаки, шкаф, раньше стоявший в комнате матери, ящик, на котором лежали вещи отца. Все столь знакомо. . .

За забором у Золотаревых, видно, проснулась собака, она загремела цепью в очке покосившейся конуры, зевнула, прилегла на ступеньку, шевеля своими острыми мохнатыми ушами.

Женя смотрел на отца.

Отец спал – он казался каким-то маленьким, укутанным, замерзшим. Женя воображал себе, как его отец завернулся в старое одеяло, как подогнул ноги, как сопел во сне, стонал, чесал заросшую щеку, как положил под голову свернутую дедову шинель.

«Зачем ты приехал? Зачем? Отвечай!» Вдруг стало душно. Отец завертелся на хрустящем тюфяке, Женя попятился к двери, наступив в темноте на банку из-под солидола. Банка с грохотом помчалась по непригнанным доскам пола.

Сквозняк.

«Кто тут?» – закричал спросонья отец. Этот крик из трубы в окружении зубов, в клоках желтой ваты в сравнении с погребальной урной или бетонной урной, выкрашенной нитрой, продолжал вертеться, продолжал вопрошать в темноту, ринулся, ринулся ведь по следам своих горячих слюней, сбегавших по узенькому желобку. Прикусил язык. Он завыл от боли.

Женя догадался: отец, наверное, испугался, подумал, что его пришли убивать среди ночи в чужом поселке, в сарае, где из щелей тянуло огородной дрянью перекопанной на зиму земли.

«Кто здесь?! Кто здесь?!» – ходящий и невидимый, смотрящий и дышащий кипятком. Женя захлопнул дверь, все погрузилось в темноту. Вот придет дед-дедушка, похожий на Николая Угодника с бородой, и побалуется с инструментом, с топориком, например.

Отец стал метаться, стал проситься, стал греметь полностью погребенным в бочке, стал вопрошать, извиваясь и кривляясь отвратительно: «Кто ты? Кто ты? Чего тебе от меня надо?»

– Дед, дедушка, а, дедушка! Не слышит, что ли? Приди сюда, завернувшись в простыню, примись сноровисто орудовать ножовкой, посыпая приступку желтыми опилками – «Вот сейчас несущие подрежем, а потом и само пойдет...».

– Открой дверь, слышь, открой! Кто тут?!

– Это же я, твой сын Женечка!

– Не знаю я никакого Женечку! Изыди, сатана!

Женя побежал по огороду. За спиной раздался треск рухнувших балок, хотя нет, сначала сарай зашатался, наружу полезли гвозди, и повалился набок. Отцовский голос, что исходил из недр, перешел на хрип. У Золотаревых за забором собака начала рваться с цепи, включили свет:

– Что у вас там происходит? Полпервого ночи! Совсем обалдели!

Вот и побаловались с инструментом, с каким-нибудь штангенциркулем степенным.

2. Собака

На следующее утро Леха вывел собаку со двора, с опаской косясь на окна первого этажа, где он жил с отцом, матерью и сестрой.

– Постой тут, – сунул Жене брезентовый поводок и исчез за дверью.

Женя посмотрел на собаку, на ее редкие слежавшиеся острова шерсти – старые, душ-ные, что клочья драного ватного одеяла от татарина, на ее лысые бока, как вытоптанная трава в лесу, обнажавшие судорожное дыхание – отрывистое, от раза к разу – свист рваных мехов кузнечных, фотографических, фотографические щелчки, пронзительное фистульное сопение в трубу, дудение... Да, но довольно об этом.

Еще был мутный взгляд, казалось, она даже не замечала его – Женю, – уставившись куда-то перед собой.

А что было перед нею? – кусты, голые деревья, кряжи для распиловки – ну что еще? – улица, дома, наконец, были.

Собака утомленно зевнула, вероятно, после бессонной старческой ночи на сквозняке. Сблаговостила после подобной тошноты – ломило суставы, да и кормили не Бог весть как и чем: известковая скорлупа яиц и вода, картофельные очистки и изжога до умопомрачения, – благовостила-таки обратить внимание и на Женю. Понюхала воздух, окрест летающий, отвернулась.

Женя попытался погладить ее (то есть, то есть, может быть, даже и погладил бы ее), он присел перед острой слюнявой мордой, снабженной безразличными чешуйчатыми глазами, рука потянулась к мохнатым ушам, но почему-то (что же произошло?), Женя так и не понял почему, стал ощупывать мощный стальной карабин на ошейнике.

– Сильная вещь? А? Отец из части принес, таким парашюты цепляют. – Леха появился внезапно, правый карман его пальто оттопыривался.

Женя заметил выглядывавший оттуда целлофановый пакет с какой-то белой дрянью.

– Пошли.

Через огороды спустились в низину на зады квартала. Улица ушла вверх, изредка светясь глиной сквозь решетку черных ветвей деревьев. Голых. Собака медленно ковыляла, постоянно препираясь с натянутым в струну поводком, желая его укусить, столь ненавистен он был.

Остановились у поваленного дерева. Леха перемешал отраву с разваренными петушиными шкурками – красный гребешок, индюшачья борода, утиные перепонки, кишки, комок желудка с приправой, сердце, цементная глотка, – поставил жестяную банку на землю...

Фамарь Никитична рассказывала внуку Женечке, как совсем недавно повязывала белый клеенчатый передник и рубила голову петуху – пернатому обитателю двора – топором. Потом снимала клеенчатый, залитый кровью передник, а на поминках угощала всю свору гостей и родственников густым бездонным бульоном из огромной железной кастрюли, на дне которой мерцал ржавый половник.

Поставили банку на землю. И вот произошло то, что должно было свершиться тысячу раз, когда, еще будучи молодой визгливой сукой или кобелем (не столь важно!), она, эта собака, носилась по помойкам, выискивая съестное, так же (так же!) облизнулась, видимо, показалось мало, так же принялась обнюхивать жухлую траву... Леха отшвырнул пустую банку ногой.

... жухлую траву – ведь это была уже не трава на самом деле, а нечто, смутно напоминающее траву, некие таинственные бурые острые ленты, из тех, которыми заклеивают оголенные провода.

Провода, провода.

– Пошли домой. – Золотарев встал и поволок собаку обратно.

Она почему-то не упиралась, как прежде, но миролюбиво – нет! – умиротворенно потрусил за хозяином.

«Нечем ли подлечиться, любезный?»

Женя почувствовал, что готов ответить со спокойствием: «Отчего же нет?.. Есть... удобрением, например...» – с ужасом.

Потом Женя взял целлофановый пакет, оставшийся лежать на поваленном дереве, и сунул его в карман. Со спокойствием. Как дымящийся лед, как дымящийся уголь, как погружение и мгновенное, сиюминутное вознесение, рука как бы оказалась в воображаемой створе от происходящего, в предположительном отдалении. В этой местности.

– Вот и все.

Женя встал.

Леха с собакой поднялись на улицу и шли вдоль забора. Женя двинулся за ними. У дома Золотаревых остановились.

Женя наклонился к собаке. Собака смотрела на него, и он увидел свое отражение в ее глазах.

...Он – на кого же он похож? Вот, у него такие торчащие ладонями уши (его четыре руки), подобные древесным грибам – чагам.

Глазами Женя более походил на мать, все родственники это находили – «Когда на поминках они сели за стол, я вызвался им подать чаю, ведь чем еще, кроме чая, я мог пригласить их – своих родственников».

Подбородок, надбровные дуги, песчаные холмы и высохшая пойма могли бы изобразить Женю в довольно невыгодном свете лампы-дежурки, если бы не впалые щеки – низинами в предгорьях, – Женя вдруг схватил себя пальцами за нос и стал истоиво вертеть его: «Расти вверх! Расти вниз! Горой в облаках! Кучей в пирогах! Яблоками печеными! Стаканами толчеными! Вот так! И вот так! А еще так!» Следовательно, в предгорьях птичьего клюва, следовательно, левая скула не имела ни малейшей возможности переговариваться с правой, к примеру, в редкую минуту одиночества, в некоем энергетическом порыве, движении ли.

Было что-то и от Фамари Никитичны: может быть, затылок, а может, и макушка – такая же, с низким трухлявым пнем, заросшим папоротником и цветистыми лишаями. (Забавное сравнение! Более того, когда нос – оставленный, отринутый, познавший пальцы, испытывавший мучения, вкусивший насилия сполна, красный совершенно, потираемый благосклонно, почесываемый, более не привлекает внимания. Женя трогает собственную макушку и выдвигает подобное довольно душевное, чтобы не сказать, дышащее лесом сравнение.)

Дед всегда обижался, приговаривая, бормоча: «Ну возьми хотя бы походку через шаг на второй, а через второй на сажень».

– Косая сажень в плечах! «До Москвы – две версты» – написано.

Женя ходил, устремив носки внутрь, отчего имел вечно сбитые под ус задники туфель. Ценное приобретение для загребания песка или земли, наращивая целые сугробы, с извечной легкостью исчезающие при наличии доброй воли: жестяной формочки, начищенного бузиной медного козырька или разросшегося, ветвистого, проведенного всю зиму в банке с водой березового веника. Веника проволочного, царапающего стекло, оставляющего за собой полосы-борозды.

В ту минуту худые ноги с острыми коленями, шелкающе резали воздух кухни. Поиск чашек, поиск сахара, нахождение кипятка.

Женя вспомнил, что, когда он уготовлял на кухне горький чай для родственников, почувствовал на себе взгляд. Оглянулся. На буфете стояли фаянсовые игрушки: Онегин и Татьяна, Пушкин и Гоголь, Борис и Глеб, Герцен и Огарев...

– Долго еще чаю ждать? Что ты там делаешь, поганец?

...Флор и Лавр, Минин и князь Пожарский. Еще прятались слипшиеся леденцы.

Женя ненавидел свое отражение в зеркале. В воображении он настаивал на пропорциях этих самых Минина и князя Пожарского (все же!): сидящий и совершенно облупившийся, но иной способен к сохранению зыбкой одежды из мела или снега, вернее, убранный изъеденным ситцем, стоит, воздев руку, стоит вровень с игрушечной петардой, начиненной соскобленной со спичек серой, что вот-вот взорвется и оторвет руку и ногу. Тому, кто сидит, – левую руку, а тому, кто стоит, – правую ногу и обожжет бровь и хвост... не в бровь, а в глаз... и в хвост, и в гриву, это, конечно, в случае наличия какого-нибудь устремляющегося за блохами зверя.

– ...Давай быстрее, мне уже идти надо. – Леха нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Собака икнула, выпустив на включенную бороду желтые вспененные слюни.

Женя вздрогнул.

Калитка захлопнулась.

Когда уже совсем стемнело и по длине улиц зажгли фонари, Золотарев выволок окоченевшую собаку со двора и закопал за сушилкой в куче сбитого цемента. Наскоро, пока не смерзлось.

Смерзлось.

3. Отец

Вот и в наш город потянулись обозы с дровами и углем. Обозы выстраиваются где-то на извозных и дровяных слободах, на грузовых железнодорожных перегонах, разъездах и оттуда устремляются бесконечными грохочущими потоками. Значит – скоро будет тепло! Значит – снова придется ковырять ломом заиндевевшее очко в сортире! Но ничего, это даже и хорошо!

От извозчиков, тех же водителей, в стеганых ватниках, тулупах ли, пахнет табаком. Поднимается пар. Целое парное марево.

Женя с отцом пробираются сквозь эту шумную толпу однообразного цвета и звука: кто-то кашляет, но не закрывает рта руками, кто-то громко смеется, хохочет, тыкает пальцем, чешет ушанку-шапку, съехавшую на затылок, кто-то просто зевает, курит, сморкается в жестяную трубу соответственно трубно. Подвозят уголь в вагонах или тачках, подвозят и дрова на лесовозах.

Поодаль стоит тарантас цыган, и сам цыган, облаченный в валенки и рванный собаками тулуп, греется, прислонившись к дымящемуся боку мохнатой лошади. В руках держит лопату для угля, чтобы, лязгая, загружать железный сварной короб.

Никто не обращает на Женю и его отца никакого внимания.

Они выбрались в поле и пошли, оставив за спиной церковь, пошли к лесу, где находился погост.

Женя краем глаза наблюдал за отцом, который, не вынимая рук из карманов пальто, торопился, пытался попасть на полосу мокрого, липкого снега, но постоянно ошибался и проваливался в канаву, полную гнилых листьев, ботвы и вонючей воды.

– Как же здесь гроб-то несли? – вопрошал сам у себя.

Наконец вошли в лес. В темноте пропитанных влагой стволов, местами подмерзших и даже обледеневших, начинали свое движение навстречу идущим низкие, гнутые, едва ли достигающие до метра, крашенные в синий цвет ограды из проволоки, ножек кроватей, слезжавшихся пружин и ребристых прутьев – ограды могил.

Ограды могил.

Дорожки занесло снегом, и потому приходилось придумывать новые пути через кусты, кучи дерна, гравия, спиленные деревья и хрустящий лед осыпавшихся могил.

А ведь снег усилился тогда – он опухшим, отяжелевшим, бесформенным прокисшей комкастой кашей (господи, каким же еще?), распаренным после неверного пудового бега сумасшедшим неистово рвался в глаза, в рот, в уши, за воротник, свисая, и рушился, раскачивая волосы и ветки, искусственные цветы и подставленные руки. Все, абсолютно все приводил в движение.

Женя был здесь как в кладовой, где под потолком по разъезженным рельсам и трубам перемещались отсыревшие куклы с пластмассовыми масками улыбок. Тут же были лацканы, полы, воротники, пазухи и запазухи, разного рода облачения и так далее. Все это несметное, но вполне обозримое по длине ангара-ризницы воинство шевелилось. Женя почти чувствовал объятия их душных рукавов.

Это все рисовалось его воображению...

Отец остановился:

– Кажется, пришли?

– Пришли. – Женя принялся разгребать снег с могилы, затем достал печенье.

Вдруг в тишине однообразного шума падающего снега, в темноте белого, синего и черного отец начал говорить монотонно. (Ты чео-о? Пап? А? Ты чео-о?) Говорить хрипло, даже распевно – может быть, он был голосом прозы, почти беззвучным? Раскачивался почти

беззвучным, закрывал глаза почти беззвучным, вторил дрожанием полой трубы шахты лифта почти беззвучным. У него начала расти борода из снега. Борода из волос... тоже начала расти. Женя почувствовал дурноту.

Отец сел на скамью, закурил, стал рассказывать. Вот что Женя услышал тогда:

– В райцентре мотовоз обычно стоял три минуты. Подходил неспешно, газовал, свистел, громыхал тамбурами и агрегатами сцепки, сообщал: «Филиал – Кирпичный завод – Лесопункт Айга – Тихонова пустынь – Калугаодин – Калугадва» – все это, стало быть, пройдено.

На платформу, прибранную плешивыми кустами, еще на ходу выпрыгивали пыльщики, водители лесовозов, мотористы, охрана. Выбрасывали деревянные, обшитые железом ящики с почтой. А за поручни уже тяжело цеплялись другие, волоча перетянутые ремнями мешки. Тут же нищие просили, скользя по коварному перронову льду (костыли, палки, клюки-крюки), кто быстрее получит воздушный поцелуй или кто верней распорядится собранной мелочью. Некоторые из этих нищих, разумеется, падали, истошно вопили, скорее всего по причине бессильной злобы.

Отец улыбнулся:

– Я успел тогда вскочить на подножку в самую последнюю минуту и закричал: «А ну, мужики, потеснись! Ехать-то всем надо!» В глубине тамбура послышались голоса: «Ну, ехай, ехай, солдатик!»: и еще, «О, сильные люди лезут!»

Мотовоз загудел утробно гудком, и мы тронулись.

Я оглянулся – «Калугадва» медленно поплыла назад...

Женя вообразил себе эту мерзкую картину отбытия-исхода: картину опоздавших на поезд, смеющихся, отупело-безразличных, пьяных, неизвестно откуда взявшихся бритых дебилов и нищих.

– Ну, поехали, слава богу. – Отец встал со скамейки, прошелся вдоль могильной ограды, вернулся. – К Кирпичному заводу стало немного посвободней, и мне удалось пробраться в вагон. Тут было нестерпимо душно, а еще нарядчики с дальних лесочастьков – от станции два часа на вездеходе – столпились у совершенно распаявшейся печки-перекалки и курили. Пахло дымом и табаком. Окна запотели. Я подумал тогда, как все глупо, безнадежно и бессмысленно... Понимаешь меня?

Женя кивнул головой.

– ...ведь, понимаешь, я хорошо знал, что никакого болота и даже самой незначительной, мало-мальски ощутимой сыростью топи здесь не было. Просто старые вырубки слишком медленно зарастали редкой голутвой и кустарником. А я все ждал, все надеялся, что наступит тот момент, когда шпалы, а за ними и рельсы, и наш вагон врежутся в мутную, густую киселем водорослей воду... и все, расталкивая друг друга, бросятся к аварийному люку в потолок, будут просить посадить, больно ударяя по каше лиц каблуками коротеньких резиновых ботинок или кирзовых сапог.

Женя закрыл глаза.

– Тебе плохо? – Отец подошел к нему, наклонился.

– Не-е, нормально, просто тошнит.

– После Мастерских, где когда-то работал мой отец, твой дед, кстати сказать, Дмитрий Павлович, вагон опустел совершенно, и до леспромхоза мотовоз ехал почти пустой...

– У тебя был отец? – Женя открыл глаза.

– А как ты думал, обязательно... Ну вот, тогда я и сел на скамью в вагоне – такую, знаешь, плоскую, обитую дерматином или фанерой, сейчас не помню, дурного, резкого цвета. Сел рядом с Лидой. Рядом с твоей матерью.

– Да, да. – Женя улыбнулся.

– На ней было старообрядское пальто с вытертым мерлушковым воротником.

Лида.

Она мне напоминала мою мать, такую же слабую, раздраженную, вечно уставшую, что надорвалась-таки после войны, когда работала на погрузке леса, ведь тогда мужчин совсем не было и женщинам приходилось ворочать огромные сосновые стволы, подтаскивать к подводам, обвязав мерзлым корабельным канатом-тягой.

Мы молчали, смотрели в окно, за которым двигался назад рваный лес, какие-то заброшенные бараки, вагоны на путях и на земле, в них жили люди, вереницы грузовиков и трелевочных машин на переездах. Потом я спросил у Лиды...

– Что ты спросил, – Женя выдернул свою руку из руки отца и отвернулся, – ну, что ты спросил?

– Я спросил, где она работает, и она, то есть твоя мать, ответила, что работает в конторе леспромхоза, сидит в бытовке, которая не отапливается на зиму. Сначала она говорила как-то нехотя или делала вид, смешно путаясь в блеклой косынке, вырезанной из полосатого пледа с кистями и витыми колбасками – вязаными-перевязаными, колючими и безобразными, знаешь такие?

– Знаю, знаю...

– Поправляла волосы, но потом осмелела и даже показала неведомые списки и счета, сокрытые до времени в ее папке. Как ты себя чувствуешь?

– Нормально. – Женя улыбнулся. – Даже хорошо.

Ну, конечно, старообрядское пальто, ну, конечно! И принадлежало оно сначала Фамари Никитичне, его бабке, сухой, мрачной насельнице двухэтажного бревенчатого барака для бывших спецпереселенцев или их охраны, или черт знает кого еще!

– Вот... а потом она сказала: «Меня Лидой зовут, а вас как зовут?» «А меня зовут...» – и я сказал свое имя. Женя, ты помнишь, как меня зовут, как зовут твоего отца?

– Пойдем домой.

– Конечно, конечно. – Отец засуетился, принялся отряхивать снег с рукавов, шапки. – Уже поздно.

Теперь Женечке даже начинала и нравиться эта игра.

«Как звали моего отца? Владимиром? Александром? Иоанном? Иовом? Сергеем? Максимом? Валерием-Уалерием? Завулоном? Андреем или Иаковом? Нет, нет и нет!» Столь необычно он продолжал описывать происходящее, уподобляясь ветру, дыму, рваному подряснику, свитку.

Закрывал глаза. Подходил к окну с видом во двор. Ласкал сам себя, забравшись в рукав. Столь необычно все это, столь необычно. Придумывал чахлую мерцающую службу, жидкий ладан, слабые, почти немощные голоса, красный дребезжащий огонь свечей. Вспомнил, как поцеловал руку отцу Мелхиседеку.

– Лида тогда впервые привела меня на окраину поселка, в храм, который больше напоминал катакомбы, сырой подвал с бетонным полом, где еще год назад могли бы стоять циркулярные пилы и электрические ступы для мела, извести и гравия. Здесь на стенах, укрытых домашними полотенцами, изукрашенных припасенными образками, сохранилась бело-красно-зеленая пелена и лица были разбиты уступчатыми ямами в штукатурке...

Женя увидел: только ладони лодочкой и ризы колоколом в одной плоскости. Все повернуты, все смотрят, вносят огромный восьмиконечный крест.

По углам – печи, черные пробки дымоходов, топки забиты красным кирпичом и опилками. А зимой снег ложится здесь на подоконники и остатки растрескавшихся рам, образуя целые седловины и холмики. Ведь Лида впервые привела его в церковь, что располагалась на окраине поселка, где вполне можно было задохнуться от ладана, от гула чавкающих губ, шагов нескончаемым круговоротом и окна были непрозрачны. Отец Павлов обращался ко всем.

«На полях иконы обозримы клейма-жития – Рождество, Крещение, обращение к горному (например, дикие звери приносят пищу), кормление хлебами и насыщение хлебами, подвиги веры, мученическая кончина, страсти и чудеса у гроба. Замкнутый цикл – идея круга. А также ряды-чины – идея последовательности, последовательного предшествования. Святоотеческий, пророческий – «сбылось реченное через пророка...», деисус, местный, Святые Врата, Евхаристия и, наконец, страшный пожар, неистовство огня – тябла выгибаются и с грохотом валятся на пол, проламывая его. Жар раздирает доски, и они раскалываются, уходя в темноту...»

Отец Мелхиседек выключает свет, и сразу наступает зимний вечер.

Отец усмехнулся:

– Сам-то я давно в церкви бывал, кажется, еще в детстве, у себя в городе. Все забыл или даже не знал толком. Понимаешь, совершенно как чужой, как в гостях, в которые не приглашали. Одним словом, заглянул по случаю.

Женя кивнул в ответ.

– ...на скамьях стояли забытые чашки с хлебной мякотью. Свечи вдруг начинали громко хрустеть в наступившей тишине, дымить, валиться и набрасываться друг на друга. Потом открыли потайные двери и вынесли пластмассовые ведра и корзины. Оранжевый воск капал, мутнел и застывал молниеносно. Пластмассовые ведра и корзины наполняли пакетами, мусором, бумагой, в которую заворачивали рыбу. Пластмассовые ведра и корзины ставили у стен, ставили их, таких пузатых, а они, как назло, падали и катались по бетонному полу, нарушая благоговейную тишину храма. Потом... что было потом? ...А-а, да, потом протирали стекла, и становились видны огни и снег на улице. Пластмассовые ведра и корзины падают и катаются, катаются, рассыпая мусор по полу, и его вновь терпеливо собирают. Пахнет рыбой, что поджаривали на огне.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.